Людмила Гурченко

# Мое взрослое детство

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Воспоминания о своем военном и послевоенном детстве замечательной актрисы Людмилы Гурченко, о двух страшных годах в оккупированном немцами Харькове. Об этом времени рассказано искренно и откровенно, что производит особенно сильное впечатление, поскольку это воспоминания о войне, навсегда запечатлевшиеся в сознании 7-8-летнего ребенка. С особенной нежностью и теплотой автор рассказывает о своих родителях и прежде всего об отце Марке Гавриловиче - человеке ярком и самобытном. Ему и посвящена эта книга.


- 
- АВТОБИОГРАФИЯ
- ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ
- ВОЙНА
- ВАЛИ
- ГРАБИЛОВКА
- КАЗНИ
- СКАЗЁНКИ
- ПРОРУБЬ
- МЕНКА
- АЛЛЕС НОРМАЛЕС
- ПИР
- ГОВОРИТ МОСКВА
- «НАДО ВЫДЕЛИТЬСЯ»
- ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ
- ШАУШПИЛЛЕР
- КЛАД
- БАЗАР
- БЕЗ «ДЕЛА»
- НАШИ ПРИШЛИ
- ВТОРЫЕ НЕМЦЫ
- ДЯДЯ ВАСЯ
- ОБЛАВА
- ПЕТЕР
- ШИПОВНИК
- КУКОЛКИ
- ПЕНИЦИЛЛИН
- НОВАЯ ЖИЗНЬ
- ВЫСШЕЕ ЧУВСТВО
- ПИСЬМО ОТ ПАПЫ
- СИМАНОВЩИНА

- РАЙЕЛЕНОВКА
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
- ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
- ПАПА ВЕРНУЛСЯ
- БЛЕСТЯЩЕЕ «ПЛАТТИКА»
- БИБЛИОТИКА
- ДЕРЕВНЯ
- ФЕКЛА
- КОНЦЕРТ В ДЕРЕВНЕ
- СОВСЕМ БЕЗНАДЕЖНО
- РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
- ДОВЕРИЕ
- «ДАВАЙ ДАЛЬШИЙ»
- ПАПА
- В МОСКВУ


Я ХОЧУ попытаться рассказать о своем отце. Человеке сильном и слабом, веселом и трагичном, умном от природы и почти совсем неграмотном в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых семидесяти пяти своих лет папа прожил сорок пять в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись.

Рядом с ним прошло мое детство до войны. Я его ждала всю войну. Потом папа вернулся с войны.

Люди, которые хоть один раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали мне вопрос: «А как твой папа? Ну расскажи про своего папу... Нупожалуйста!»

И я рассказывала. Они смеялись, поражаясь его неожиданным повадкам, его речи, ему... Я не могла им сказать, что его уже нет, что вот уже с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде, ни в чем не могу найти покоя. Только в работе, в которой, к счастью, пребываю в последние годы без перерыва. Я знаю, что надо отдохнуть но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время, и опять на меня обрушится тоска, боль и пустота...

Ведь нет больше моего папы!

Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамсй — прекрасны.

# АВТОБИОГРАФИЯ

Папа часто с удовольствием рассказывал о себе. Я попробую воспроизвести его речь как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы.

Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Он родился в 1898 году. Но всем говорил, что 1899-м.

— Марк, — ехидно спрашивала моя мама, — ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года... Ну что тебе дает один год?.. Хи-хи-хи...

— Не нада, Лёличка, не выводи меня. — Обычно горячий и невыдержанный, папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал и всегда терпеливо объяснял маме: — От человек, ну што ты скажешь,.. Я ж тибе гаварив, што — тыща восемьсот девяноста восьмой год при царський служби служив последний год. А я у царський служ6и не служив! Значить! Што выходить? А? А-а!!! То-та. Былван есть былван. Да зачем мне врать, галава ты. Я ж увесь як на ладони... Да-а, у девять лет я вже батрачил. Пас у пумещика лошадей. Сонце усходить, и я встаю... Ах, ети е мать... раз заснув, а лошыди—у клевер. И вокурат у етый самый момент пумещик проежжав, ну... поля проверяв. Он меня соннага пугую (кнутом) як потянить... Во було дела-а. Я ускочив: "Пан, бейте сами, толька батьке не гаварите... Батька меня насмерть зашибёть...». А когда пригнав лошадей, прийшов у хату — батька бив... та што там гаварить, бив и пригаваривав: «Учись, сынок, жить, мать твою в триста богов...» Да-а, батька меня вже и здоровага бив... Ну, правда, було за што. Раз — мне уже тогда лет двадцать було - усю ночь з хлопцами у суседний Сморкачёвке з девкими гуляли. А у четыре утра вже у поле выходить нада... Приплёвся пьяный а тут вже усе меня ждуть — стоять коло хаты: батька, матка, браты Иван да Мишка, а Егор ще маленький быв, у хати спав... Батька з топором на меня идеть. Матка бросилася на него — он ее вдарив, об землю!.. Усё вскипело у меня за мать. Батька её часто бив... У глазах усё потемнело, вже не помню што и як— но пошел прямо на батьку...

«А-а-а! На раднога отца руку подняв? Ну, держися...». Побежав батька у хату, а с хаты выходить з ружьём... Целить прямо в меня... Стою. Весь похолодев, зубы стиснув, кулаки стиснув, сам — ни з места... «Ну, — думаю, — усё, Марк, отжив ты свой век». И батька стрельнув... Осечка, брат.., А ружье новое було, осечки не давало... Усе стояли белые, як мел...

«Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли бога, сынок...». —

Вдарив об землю ружьё и пошел у стэп... Да-а. Вот и скажи, што бога нет. Новое ружье — и осечка! Не-е, якая-то сила есь... Вон я вже и батьку своего пережив, хай земля ему будить пухум...

Да-а, ну, значить, дальший — у революции служив... Побили усех пумещиков к... матери, та што там гаварить. Да-а, ну, а потом, значить, бросили меня з группую наших хлопцев на ета, как его... раскулачивание... Ну, а в меня характер сам знаешь, а когда выпью... Та што там гаварить — одним словом, молодой, гар-рячий... Аднаго кулака так прижав — насилу ребяты оттащили от греха подальший... «Не, Марк, так круто нельзя, нада полегчий». Да он же хлеб прячить, а люди з голоду пухнуть... «Полегчий»... Да-а-а..., ну, словум, ето дело не для меня...

А у ето самое время вокурат усе наши деревенские хлопцы у город подалися, многие подалися. У город, у шахты. Ну и я з ими...

И вот у Кривом Рагу, на руднике, десять лет забойщикум быв. Там, братва, такие драки были... куда там... Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверно, многие и щас помнять. Да-а... А особенно етый брат, — показывал папа на женщину, если в компании слушателей находилась такая. А если такой не было, то смотрел в сторону, где была мама. — Та шо там гаварить... У те годы «етага брата» в меня были... ну сотни. Ну любили ж они меня, э-э-э-эх!! — и, тут же быстро оглянувшись, нежно позвав: «Крошка!» (папа стал маму так ласково называть, когда вес ее приблизился к ста килограммам), и убедившись, что мама не слышала ничего, с удовольствием продолжал и все вырастал и вырастал в глазах мужчин-слушателей..

— Да-а, ну, значить, дальший... да, забыв. У диревни я, ще хлопцем, веселив девок на двухрядной гармони. А в Кривом Рагу дело пошло чуковней (шустрее). Перешел уже на трехрядный баян, та што там... Ни одна свадьба без меня не обходилася. И меня усе любили з дорогою душою, ну и я к усем по ласке.

Да-а, так вот, значить, дальший. А дальший — у тридцать втором году — меня высунули в «интеллигенцию»... Тада много способных хлопцев послали на высшее образование. Меня у Харькивский муздраминститут. Он тада вокурат стояв на Бурсацким спуски. Выдержав я етый институт усего два года. Вот где, братва, испытав я исключительный позор и голод... А голод у етых 32—33 году был ужас какой, та што там, мамыньки родныи... Ну, образование у меня што? — четыре класса поповський школы, ну, немнога техникума у Кривом Рагу. А тут тебе и политэкономия, и «Капитал " Маркса... Куда мне усё ета...

Иногда, в компаниях своих коллег-баянистов, рассказывая о периоде жизни в муздраминституте, папа мог вдруг

процитировать наизусть «изречения», которые он запомнил на лекциях. Их он произносил подчеркнуто «литературно», даже букву «г» говорил твердо, как москвичи: «Да, братва, жисть есть борьба. Маркс он тебе не дурак, такую, брат, багатую книжку наскородил... А жить ув общистви и быть свободным от общества никак нельзя, братва. Вот какое дело», — чем озадачивал всех своих дружков... Они сидели молча, не зная что делать. Может, он уже устал от их «общества» и пора им уходить? Или как?

— Да-а, вволю тогда надо мной посмеялися городские хлопцы. За что, правда,неоднократно были христосованы мною, пока усе не попритихли... Та я и сам чую — ну куда мне за ими, отстаю. Да я ноты одни полгода вчил. А там и теория, и гармония... Выйду до доски — лицом стану, путаюся, усе смеются; спиною стану — усе щтаны у латках, смеются. На мне усе трусится, еле здержуюсь... Стипендия гроши, кишки трищать, одеть нема чего... Хоть караул кричи... Да-а..,

...И тут вокурат устроился я ув одной школи детям на переменках играть. У раз — десять рублей! А?? Ага! — вижу дело пошло чуковней. И тут смотрю — секретарь комсомольский организации.., такая крепкая, здоровая, цыцохи большие, глаза прия-а-тныи... Ну, я ей и говорю: «Будь ласка, барышня, помогите мне детей организувать». Так нежно ей говорю, ну, словум, подлажу до ней... «Ну, конечно, пожалуйста, дядя Гриша», — так интеллигентно отвечаить. А меня тогда «Гришую» звали. А то, говорить што ета у тебя за имя — Марк? Нерусское ета имя... Ну як же не русское? Як же не русское, если я родився 23 апреля, на день святого Марка. Так меня Маркую и назвали... Да у меня усе братья: Иван. Мишка, Егор, батька Гаврила Семенович, мать Федора Ивановна — усе русские, да уся деревня русские.,. У нас других зроду и не було...

...Да-а, так вот ета самая комсомольский секретарь говорить мне: «Дядя Гриша, с удовольствием помогу вам, только расскажите, научите, пожалуйста»...

...Вот я и навчив на свою голову. Вже тридцать лет вчу... Ета ж и была Лялюша. Ну, Леля... Елена Александровна Симонова. Люсина мать...

Это была моя мама. Тогда она училась в девятом классе. Мама была 1917 года рождения. И папа хоть на год, но сокращал этот трагический возрастной разрыв.

# ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ

Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках. Она стала успешно осваивать профессию массовика.

Потому можно сказать, что я родилась в «музыкальной» семье. А точнее, я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны — это музыка!

Каждый день новые песни, новые мелодии. Они звучали по радио и на улицах; сутра, когда папа разучивал «новый репертуар»; вечером, когда приходили гости; у соседей на пластинках. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить.

Папа и мама работали в Харьковском дворце пионеров. Это был новый красивый дворец. Он стоял на площади имени Тевелева. В большом мраморном зале посередине был квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки.

В перерывах между массовками мы с папой бежали к водоему: «Дочурка! Якеи рыбки! Я ще таких зроду не видев. Якая прелесь.., божья рыба...» Мама всегда портила ему настроение: «Марк, ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге... Хуже Люси ...хи-хи-хи». — «Леличка. ну яких сорок? Ще нема сорок, зачем человеку зря набавлять?» Издали еще слышалось мамино ехидное «хи-хи-хи», а папа( взяв меня на руки, посылал в мамину спину: «Во — яга! Мамыньки родныи... Ну? Ета ж чистая НКВД! Ничего, дочурочка, зато папусик в тебя самый лучший!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный! Я обнимала его, прижимала его голову к своей. Мне было его жалко. Какая «она» нехорошая. Она прервала нашу радость.

...Из роддома меня привезли на извозчике.. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Привезли меня в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, № 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни.

Комната была подвальной, с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих, было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол. Слева — буфет. В буфете на верхней полке в вазе постоянно лежали конфеты. Я их получала за свои «выступления».

А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом. Тут же

папа ему:

— Ну куда, куда ты бежишь? Ну чиво? Сядь, передохни! Голова ты... Усех дел не переделаишь... Давай, садися... Щас тебе моя дочурка концертик устругнеть...

И начиналось! Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него, руки назад, глаза широко открыты, улыбка самая веселая. Я все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое!» Начинала я со стихотворения:

Жук-рогач, жук-рогач —
Самый первый силач;
У него, у жука,
На головушке — рога!

И в конце стиха надо было приставить к вискам два указательных пальца. Гость вежливо улыбался: «очень мило, очень мило», — и собирался уходить. «Куда ты? Не-е, брат, ще тока начало! Давай, дочурчинка, песенку з чечёточкую!» Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо «дать» кусок чечетки. Я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала: «Х-х-ха!!!»

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,
Возьми гармонь, играй на все лады,
Так играй, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зеленые сады!

Папа на баяне — «тари, дари, дери-дам!» И я свое «х-х-ха!»

После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа: «Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!»

И человек, который к нам заходил на минуту, уже через четверть часа под папиным обаянием и натиском совершенно забывал, куда и зачем он шел, почему он оказался у нас, и, конечно, оставался... Папа выразительно смотрел на маму. Мама бежала в магазин... а я продолжала свое выступление...

Домой человек уходил лишь поздно вечером, держась за стенки, хвалил маму, восхищался «дочуркой», прославлял папу — щедрую русскую душу — и благодарил, благодарил. Папа был счастлив.

Кто бы к нам ни приходил, начиналось так: «Ну, девки, давай скорее на стол, человек у гостях. Лялюша! Давай, шевелися чуковней... Штоб усе було, як на Первое мая!»

У нас в доме все праздники были, как Первое мая. Для меня праздник Первое мая был самым веселым. Папа шел на демонстрации впереди колонны с баяном, весь в белом. Брезентовые папины туфли начищались мелом до блеска. Мама, в белой юбке, белой майке и белом берете, дирижировала хором. Пели все! И я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто до войны все были молодыми. Молодой папа, молодая мама, молодые все! И я с ними — счастливая, радостная и, как мне внушил мой папа, «совершенно исключительная».

В левом углу от входа в нашу комнату стояла знаменитая двуспальная кровать с никелированными спинками и шариками, которые я все время откручивала. Эта кровать прослужила моим родителям около тридцати лет, до 1969 года. В том году они переехали ко мне в Москву. Кровать осталась в Харькове, а им пришлось купить современную тахту, которую папа проклинал и благоговейно вспоминал ту незабываемую кровать с сеткой и периной. А может, он тайно вздыхал по тому времени, когда был молодым, сильным...

У папы было очень много друзей, поклонников и «ухажерок». Особенно до войны. «Друзья» — это те, с которыми он общался по делу, по баяну, по профессии. "КровЕнные друзья» — это те, с которыми он говорил о профессии за столом. Раз вместе поднимали рюмки — значит, этот друг становился «кровЕнным», то есть кровным. Без друзей о водке в доме не было и речи. Но стоило папе сесть за стол с «кровенным» — вступал в силу его характер: как это так, чтобы кто-то оказался сильнее его? Чтобы он кому-нибудь уступил?

Папа средне играл на баяне. И если его коллега играл хорошо — а они все играли лучше него, — папа искренне улыбался: «Во играить, як зверь! Исключительный баянист!»

Были среди друзей и подруги. «Ухажерки». Те, которые ему нравились, за которыми он ухаживал. Одинокие женщины, которых он утешал или словом, или тихонько похлопывал их пониже спины, так, чтобы — не дай бог! — не увидела мама. А я все видела, и никогда своего папочку не выдавала. Папа всю жизнь до старости пользовался большим успехом у женщин.

Он был прекрасно сложен, выше среднего роста. Очень сильный и чрезвычайно легкий в движениях. Танцевал пластично и любое «па» брал с ходу. У папы были синие глаза, темные вьющиеся волосы и открытый теплый взгляд. Но самым

прекрасным в нем была улыбка. Когда он улыбался - улыбались все! Ровные красивые зубы никогда не болели. За всю свою жизнь он так никогда и не встретился с зубным врачом.Если представить себе то время, те моды, моего папу с лучезарной улыбкой да еще с баяном в руках... Да ни одна женщина не могла устоять! Это я неоднократно видела своими глазами.

Были у него бесчисленные поклонники. После работы около нашего окна его уже поджидали несколько человек. Я смотрела на маму: чем кончится? Или папа их пригласит в дом и я буду выступать, или он даст им деньги и они уйдут без него. И тогда не буду выступать, а буду слушать сказку.

А один поклонник был непьющий. Он входил, здоровался, глядя неотрывно на папу, садился на диван и кепку клал на колени. Папа сидел напротив него на нашей кровати с шариками и играл для него. Для таких «настыящих» ценителей музыки папа играл безукоризненно «репертуар», усвоенный еще в муздраминституте: два марша «Привет музыкантам» и «Старые друзья», танго «Брызги шампанского», польку-бабочку и «Турецкий марш» Моцарта. Этот поклонник все прослушивал, благодарил, прощался, все так же неотрывно глядя только на папу, и уходил.

— Что ему от тебя надо, Марк? Ну раз прослушал, ну два. Сколько можно? Черт-те что!

— Леличка, он тебе мешаить? Хай человек слушаить... И мне тренировка.

Среди поклонников были и нищие. Они знали все его маршруты и поджидали папу по дороге. Еще бы! Щедрее никто не одаривал! Папа останавливался, разговаривал с ними, расспрашивал. Ему все было интересно.

До войны каждое утро в нашей маленькой комнатке раздавался стук в окно. В форточку просовывалась голова растрепанного человека. У него на горле была резинка, а на самом кадыке железка с дыркой, из которой вылетал свист. Он был калека. Звали его Андрей. Я не могла к нему привыкнуть. При виде его всегда забивалась в угол..

— Ты не бойсь его, дочурка. Ета хороший человек. Людям усем нада помогать. Ты даешь, и тебе бог дась... Во, моя детка...

Этот Андрей приходил к нашему окну каждый день, как на работу. Постучит, подождет, а потом хрипит: «Марк Гаврилович! Здравия желаем...»

— Иди, — ядовито говорила мама, — твой дружок пришел... хи-хи-хи.

— Полегчий, полегчий, девка, на поворотах, а то быстро у меня схватишь, — и широко улыбаясь, вырвав у мамы

деньги, направлялся к окну. Деньги всегда были у мамы. Папа их моментально тратил или безвозмездно отдавал «взаймы». Андрей мне не нравился. Тут я была на маминой стороне. Такой нахальный неприятный человек, а папа с ним так… нет, неправ мой папочка…

Этот Андрей всегда сидел на углу Рымарской и нашего Мордвиновского переулка. Около того здания, с которым у меня потом так много связано…

При вступлении немцев в Харьков в этом здании была сперва немецкая ремонтная часть. Потом немецкий госпиталь. Когда Красная Армия в первый раз освободила Харьков, в нем был наш красноармейский госпиталь. Потом немцы вновь заняли Харьков. Опять в этом здании разместился немецкий госпиталь. И, наконец, 1 сентября 1943 года оно стало моей школой № 6. В этой школе я проучилась десять лет.

# ВОЙНА

Было так весело и празднично. Было лето. Наш детский сад на лето переехал в Ольшаны, под Харьковом. На всех праздниках в садике я пела, на Новый год была снегурочкой. Воспитательница говорила папе и маме: «Ваша Люся должна стать актрисой». «Да! Ета у в обязательном порядке, Так и будить!» — заверял ее папа, Я была влюблена в мальчика Семочку. На сохранившихся фотографиях мы с ним везде рядом.

И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. Еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером мы уже оказались дома, и увядший букет лежал на диване... Все оборвалось мгновенно, неожиданно.

Всего пять с половиной лет я прожила «до войны». Так мало!

«Война, война, война.., Сталин, Россия... фашизм, Гитлер,.. СССР, Родина», — слышалось отовсюду.

Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было очень любопытно — что такое «пострадало от бомбежки»? Как это выглядит? После бомбежки мы с папой пошли в город.

— Марк, не бери Люсю. Там могут быть убитые. Зачем ребенку видеть это?

— Ребенок, Лёля, хай знаить и видить усе. И хорошее и плохое... Усе своими глазами... Жисть есь жисть, моя детка...

Мы пошли в центр, на площадь имени Тевелева. Во Дворец пионеров попала бомба. Середина здания, там, где был центральный вход, разрушена. Окна выбиты. А как же красные пушистые рыбки? Где они? Успели их спасти?

Городской Пассаж, что напротив Дворца, был разрушен совершенно, и даже кое-где еще шел дым. «Да, усе чисто знесли, зравняли з землею... ах ты ж, мамыньки родныи...».

Я так любила ходить в Пассаж с мамой! Мне он запомнился как сказочный дворец! Много-много света! И сверкают треугольные флакончики одеколонов «Ай-Петри», «Жигули», «Кармен»... Их много, бесчисленное количество. И мама — счастливая, как на Первое мая.

А теперь бугристая, еще горячая груда камней.

От Дворца мы пошли по Сумской улице к нашему дому. Около ресторана "Люкс" лежала раненая женщина. Других, более пострадавших, наверно, увезли в больницу. Она лежала на правом боку. Левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая кофточка вдавилась внутрь. Широкая белая юбка от ветра поднималась. На ноге, повыше колена, осколком вырвало кусок мяса. От ветра юбка закрывала лицо, и видны были белые

трусики. "Товарищи! Кто-нибудь поправьте юбку... Как стыдно... Товарищи, дорогие товарищи, пожалуйста...Так стыдно..." - твердила она монотонно. Лицо у нее было совсем серое. Она даже не стонала. Неужели ей не больно? Почему она не кричит? Почему она говорит "Товарищи,товарищи"?

На своем месте, около моей будущей школы, сидел Андрей, склонив на грудь свою грязную лохматую голову. Перед ним лежала на тротуаре его потертая кожаная кепка. Его убило осколком в спину. Он так естественно сидел, что никто и не подумал, что он мертв. Сидит нищий и сидит... Андрей был первым человеком в моей жизни, которого я увидела неживым. Как это? Был - и больше нет...

"Усё, Лёль, Андрей нам усем приказал долго жить...Усю спину ему разворотило. Хай земля ему будить пухум. Эх, браток..."

Папа ушел на фронт добровольцем. В первые дни войны его возраст считался непризывным. Тогда мне он казался молодым и здоровым. Только много позже я узнала от мамы, что он был инвалидом. Этого он стеснялся и всячески скрывал. После шахты у него на животе были две грыжи. Операция не помогла, они прорывались в других местах. Он всю жизнь носил бандаж, который сильно вдавливался в живот с двух сторон. Ему нельзя было поднимать тяжелое. Но я помню, как он то и дело поднимал тяжелые вещи, при этом крепко ругаясь. После шахты у него всю жизнь был сильный кашель. Когда он кашлял или смеялся, он всегда придерживал живот. Он всю жизнь носил свой баян, который весил двенадцать килограммов.

Папа ушел на фронт. Мы с мамой остались в Харькове. Филармония, за которой они числились, имела строгий лимит на эвакуацию. В первую очередь эвакуировали заводы, фабрики, предприятия. А филармония, и тем более нештатные работники, позже... Так мы и просидели на переполненном вокзале с чемоданами и мешками, потом вернулись домой.

Маме было двадцать четыре года. Она ничего не умела без папы, всего боялась. Когда папа уходил на войну, она была совсем потерянной и все время плакала:

— Марк! Как же нам быть? Что же делать, Марк?.. А? Не оставляй нас... я боюсь...

— Не бойсь, Лялюша, не бойсь... Ты девка умная, чуковная... Што ж, детка, зделаишь... Жисть есь жисть... Дочурочка тебе поможить... А я не могу больший ждать. Пойду добровольно защищать Родину! Ну, с богум...

Папа ушел. Он унес с собой баян, а вместе с ним унес самые прекрасные песни, самый светлый праздник Первое мая, самое

лучшее в жизни время. Время - "до войны».

# ВАЛИ

24 октября 1941 года в город Харьков вошли немцы. В городе как будто всё вымерло. Только по булыжной мостовой Клочковской улицы шли немецкие войска, ехали машины, танки, орудия. Клочковскэя находилась внизу от нашего дома. Не было ни выстрелов, ни шума. Жители группками, осторожно спускались вниз к Клочковскской, чтобы поближе разглядеть — какие же они, немцы?

Немцы шли, ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно, четко, равнодушно. На жителей они не смотрели. Смотрели вперед, насквозь. Мы разглядывали их дымчато-серую военную форму, лица, погоны. У некоторых под подбородками висели железные кресты. Впервые видели немецкие танки, тоже с крестами.

Несколько дней было затишье... Вообще не чувствовалось, что вошли враги. А где же война?

Началось все потом, попозже.

Началось с того, что собрали всех жителей нашего дома, оставшихся в оккупации, и приказали освободить дом. «Здесь будет расквартировываться немецкая часть". Первый раз я услышала немецкую речь. Немецкий офицер был немолодой, говорил вежливо. А вот переводчиком... — как же это? Вот это да! Из нашего дома Илья Бакуль?!

«Илья, мам, смотри, — дядя Илья! Ты видишь, мам?» — дернула я маму за платье, пытаясь ее развернуть к себе. Мне нужно было заглянуть ей в лицо. Мама меня сильно ударила, испуганно оглянулась на жителей нашего дома и шепотом приказала, чтобы я никогда больше не болтала глупостей. «А то нас убьют... поняла?»

Наш дом распался. Кто куда. Разбрелись по разным квартирам. Мы с мамой попали в четырехэтажный дом, в квартиру на четвертом этаже. Этот дом стоял по тому же Мордвиновскому переулку, только ближе к Рымарской. Из окон нашего жилища, из комнаты соседки видна была слева, внизу, Клочковская, а справа, вверху, — Рымарская. Наш крутой, горбатенький Мордвиновский переулок соединял эти две параллельные улицы. Нашей соседкой по квартире оказалась женщина с ребенком. Девочку звали Зоя Мартыненко. Ее мать всегда с утра уходила, а девочка целыми днями сидела одна «под замком». У Зои Мартыненко был очень хороший слух. Она первая меня научила петь кусочек немецкой песни: «О, таненбаум, о,

таненбаум. Ви грюн зи дейне блетер...». Она пела в комнате «под замком», а я слушала эту песню в коридоре. Песне ее научил немец, который стоял у них на квартире, пока их с матерью не подселили к нам.

Что означают эти слова, я так и не узнала. Мать у Зои была большая, кривоногая, с лицом, побитым оспой.

Главным же персонажем нашего нового жилища была женщина двадцати девяти лет - Валентина Сергеевна Радченко — ВалИ! Так она себя называла. Она родилась в украинском городке Волчанске. В Харькове все говорят с украинским акцентом. У ВалИ был такой чудовищный акцент, что его слышала даже я. Она говорила «войська». Иногда буду подчеркивать гласные, чтобы точнее слышать ее речь. Мощный украинский акцент никак не сочетался с ее внешностью.

Никогда я еще в своей жизни не встречала более экстравагантной дамы! Как выразился бы мой папа, в ней наверняка было что-то «артистическое».

ВалИ была высокого роста, с длинными ногами, приятным лицом и голубыми глазами. Ее роскошные пышные волосы стали предметом моей зависти на всю жизнь. С детства меня регулярно стригли под машинку, оставляя один чубчик.

ВалИ красила свои волосы. Однажды, покрасившись перекисью, она ждала, когда волосы побелеют еще больше, и заснула. А проснувшись, прибежала к нам в ужасе. Волосы на той стороне головы, что лежала у нее на подушке, превратились в липкую массу, кисель. И отвалились прямо на наших глазах...

Но Вали была бы не Вали, если бы она не придумала выхода. Наутро волосы слева были зачесаны направо и прекрасно закрыли плешь около уха. Она их собрала и тут же справа приколола розовый бантик. У нее везде были бантики: на платьях, на занавесках, на абажуре. Я на всю жизнь полюбила бантики.

За ночь Вали сшила себе берет из коричневого бархата и оторочила его кусками рыжей лисы. Я была в восторге. Вали мне казалась волшебницей. Эта шляпка, надетая набекрень, не только прикрывала отвалившиеся волосы, но как нельзя лучше сочеталась с ее плюшевым пальто — коричневым, с тигровыми брызгами. Шик!

С отъездом папы образовалась пустота. Я не могла найти себе места. Все люди после папы казались мне скучными и пресными. И, конечно, я по уши влюбилась в тетю Валю. Я ходила за ней, как тень. Я изучала все предметы в ее комнате. Сколько там было диковинного! Кровать с железными спинками причудливой формы. На спинках — на голубом небе с дымчатыми облаками — летят розовые ангелы с белыми цветочными венками на голове!

Царская кровать. Иногда мне разрешалось на ней полежать. Но предварительно тетя Валя покрывала ее старым одеялом: «Ложиться в чужую постель, доця, негигиенично, запомни это на всю жизнь».

Она вскоре сообщила маме: «Наша доця будет артисткой, Лёля. У меня глаз набитый. Я ведь тоже артистка... О! Если бы не война... Хо-хо!»

На стенах у нее висели фотографии актрис немого кино или цветные открытки, на которых изображены были любовные парочки. Они висели вперемежку с веерами из перьев и боа. У тети Вали была даже приплетная коса. О ней я тайно мечтала. Вот бы пройтись по улице с такой длинной косой!

Я рассматривала открытки. Тетя Валя ходила по комнате, перебирала свои бесчисленные флакончики и напевала вальс Штрауса. Я была от счастья на седьмом небе. Мне грезились сказочные феерии. Я — вся в белом, в розовых перьях с золотом. Или я — вся в черном с пушистой белой муфтой. И музыка, музыка, музыка!

— Тетя Валя! Какие же красивые тети у вас висят!

— Тети? Хо-хо! ЭтО не тети, доця. ЭтО все я!

Ничего общего с тетей Валей эти дамочки с черными челками и с продолговатыми лицами не имели. Но, боясь потерять ее дружбу, боясь ее обозлить или обидеть, робко говорила:

— Ой, тетя Валя, вы в жизни лучше...

— А что же ты хочешь, доця? Это же мастерство! Такая, доця, профэссия... Это ведь характЕрные роли...

Тетя Валя явно имела отношение к театру. Она произносила такие «артистические» слова, как «мастерство», «профэссия», «роли».

# ГРАБИЛОВКА

— Марк! Гостей мы приняли «як люди», а назавтра совсем нет денег.

— Возьми у Фроськи.

— А дальше что?

— А ничего. Што дальший? Што бох пошлеть. И не нада меня, Лёличка, копирувать, добром прошу тебя, уважь.

Утром стук в дверь: «Марк Гаврилович! Не откажите. Отыграйте у нас на свадьбе».

— Лёль! Што я тебе говорив? Деньги сами у руки идуть,.. За мною не пропадешь. За хорошим мужум и чулинда жена...

Так мы и жили до войны. Сегодняшним днем. Перед самой войной мама удивлялась: «Ты знаешь, Марк, сегодня Маковецкие несли из магазина мешок соли, зачем им столько соли? Что солить? Идиотизм какой-то...».

Как часто мама теперь говорила про эту соль. Смысл ранее непонятных слов «черный день» стал доходить до нас... Каждый день становился все чернее и чернее.

Наше новое жилище на четвертом этаже состояло из двух просторных комнат. Первая была с балконом. Наша половина выходила на просторный большой двор. А половина тети Вали и Мартыненок — на Мордвиновский переулок.

Балкон на всю жизнь стал для меня символом холода. Если в доме есть балкон, значит, в нем холодно. После нашей маленькой темной комнатушки эти две светлые комнаты казались мне огромными залами. Я и сейчас боюсь больших комнат. И я в это время совсем не думаю о войне. Просто холод с детства пронизал меня так глубоко, что я чувствую его намного раньше, чем он наступает.

В эту квартиру перекочевала и кровать с шариками. И стол. И буфет, на котором по-прежнему стояла ваза. Теперь она была покрыта пылью.

Выпал снег. Начались холода. Постепенно все, что составляет человеческий организм, перестроилось на единственную волну: «хочу есть», «хочется кушать», «как! где достать поесть», «не умереть с голоду».

В городе самым «романтическим» стало слово «грабиловка». Что это такое? Если бомба попадала в склад с продуктами, люди, вооружившись мешками и ведрами, толпой, толкая и обгоняя друг друга, бежали «грабить». Многие не возвращались. Немцы расстреливали тех, кто замешкался и не успел скрыться. Люди подряд хватали что близко лежало, не нюхая, не читая надписей

на ящиках. Лишь бы вырвать добычу и поскорее унести ее домой.

Мама всего боялась. Но страх, что я совсем ослабею от голода, заставлял ее пересиливать себя и тоже оказываться в этой толпе.

...Я стояла у парадного и ждела маму. А вдруг с ней что-то случится и я останус одна? Невозможно так долго ждать...

Я ее увидела, как только она появилась из-за угла Клочковской. Она медленно поднималась вверх по нашему крутому переулку. На спине мама несла, согнувшись, тяжелый ящик. Я побежала ей навстречу. Я была счастлива, что она жива, что она вернулась! И вдруг из парадного ей преграждает путь мужчина без пальто и без шапки, толкает ее, ящик падает на землю. Я вижу, как мама умоляюще протянула к нему руки. Я еще быстрее бегу вниз. Мужчина здоровый. Эх! Был бы сейчас мой сильный папа! Он бы его одним ударом сбил с ног. И вдруг я как крикну: «Мамочка! Не бойся! Вон наш папа уже бежит!». Вырвалось у меня это. Вырвалось — и все! Мужчина воровато оглянулся, схватил банки, которые высыпались из ящика, и быстро исчез в подъезде. Я успела его рассмотреть. Вблизи он не казался таким здоровым. Он был черный, волосатый, похоже, что армянин.

Вдвоем мы еле-еле подняли этот ящик. Такую тяжесть моя худенькая (тогда худенькая) мама могла поднять и нести только в состоянии необычайного возбуждеия!

Уже около дома, когда мы поняли, что ящик «наш», мы с нетерпением фантазировали — ну, что же там, в этих банках? Наверное, мясо! Ну, что еще прячут в таких банках? Дома, как назло, не было консервного ножа. Он уже нам не требовался и куда-то завалился. Гвоздем мы пробили в банке дырку и стали нюхать... Пришла тетя Валя. Мы стояли вокруг банки, ждали. Это оказалась томатная паста для борщей, не мясо, но все же...

... Мы увидели из окна, как что-то горело в направлении кондитерской фабрики, после бомбежки в городе было очень дымно, пыльно и пахло гарью.

- По-моему, горит КАФОК, — сказала мама. (Так сокращенно называли кондитерскую фабрику. Внизу, по переулку, уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками и корзинами.) — Пойду, Ты — к тете Вале.

Я уже представляла, как мама принесёт мне из КАФОКа любимую «шоколадную бомбу". До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной бомбы. У нас была постоянная игра:

- А что я принес дочурке?

- Конфеты!
- Не-а...
- Пирожное!
-Не-а...
- Зефир!
- Ну, дочурка, давай думай чуковней!
- Бомбу!
- Пр-равильна! Усе чисто соображаить.

Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку.

- Та-ак, знимим золото и...
- Разобьём!
- Исключительно правильно!

Главный сюрприз — внутри бомбы. Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после в кондитерских магазинах уже не было шоколадных бомб. Наверное, потому, что люди знали, что такое «бомба». С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.

С КАФОКа мама принесла ведро коричневой горькой массы — патоки. Если ей удавалось что-то раздобыть, она бывала очень счастливая. В эти минуты она была похожа на маму, которую я помню рядом с папой на Первое мая. На этот раз она пришла вся оборванная, в саже. Молча поставила ведро и сразу пошла к тете Вале. Я тут же влезла в ведро языком. Ой! Это даже повкуснее шоколадной бомбы! Какая хорошая мама, целое ведро!.. Правда, папа лучше. Но он далеко. Он нас защищает. А мама хоть и бьет меня, но иногда приносит такие вкусные вещи!..

А чего это она сразу к тете Вале направилась? Даже ни слова мне не сказала? Надо подслушать. Я тихонько подкралась к тети Валиной двери.

- Орут, кричат. Люди прямо из огня ящики вытаскивают, а ящики в руках горят, я не смогла. Стою, меня швыряют с ведрами во все стороны.. Вдруг как обвалится этаж! Все бросились в другую сторону, кричат! Кого-то засыпало, придавило... Вдруг: "Сюда! Здесь патока!» Ой, Валя! Представляешь — стоит внизу чан, прямо в пол встроен, ну, представляешь... Такой большой! Да больше, чем твоя комната, только круглый, как пруд. Сзади толкают, торопят. Немцы вот-вот. Свалиться в него можно в два счета... Господи! Валя... Только я об этом подумала... Дядька — напротив меня — тянул целую выварку и вдруг упал вместе с ней, она его перетянула.,. Упал, и его тут засосало... А все продолжали набирать ведра, тазы, и я тоже... До сих пор все внутри трясется! Не могу... Как жить? Люсю жалко. Детство называется...

Мы съели патоку. Это было самое сладкое лакомство в ту страшную зиму 1942 года.

После этой «грабиловки» моя мама подпоясывала пальто папиным ремешком. Все пуговицы на пальто были вырваны «с мясом». Пуговиц не было, ниток не былр, иголок не было... Так ходили многие женщины.

В 1975 году я снималась в фильме «20 дней без войны», играла Нину Николаевну. Шубка у меня была подпоясана таким же ремешком, какой был у мамы. Кто-то из съемочной группы заметил: «Братцы! Потрясающе! Смотрите — на фотографиях тех лет женщины вот именно с такими ремешками. Это прелестно! И очень женственно. Подумать только — война, а мода свое берет!».

Я хотела было рассказать тогда, откуда появилась эта «мода», но для того, чтобы при этом быть убедительной, мне нужно было бы целиком уйти в атмосферу моего детства. При одной мысли об этом времни мне стало холодно, одиноко, страшно.

За окном солнце. Я актриса. Снимаюсь. В журналах печатают мои фотографии, статьи обо мне. Все прекрасно! Но глубоко в душе есть холодный тайник. И я боюсь его открыть. Я его открою. Только не сейчас. В самой трудной и обнаженной сцене он мне понадобится.

Потому я и сказала тогда: «Друзья мои, женщина всегда остается женщиной! Во все времена. Кстати, сейчас в последнем французском журнале дорогие шубейки подпоясаны кожаными кушаками. А? Намотаем на ус... Ах-ах-ах...».

Играя роль Нины Николаевны, я напряженно жила жизнью моей молодой мамы. Как она была беззащитна. Как она была беспомощна. Как она жаждала любви, моя мама.

# КАЗНИ

На каждом доме немцы вывешивали приказы-объявления. В них говорилось, что в такое-то время всем здоровым и больным, с детьми — независимо от возраста — собраться там-то. За невыполнение приказа — расстрел.

Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали «показательные» казни, расстрелы.

Жители города сотнями шли со всех концов на базар. Образовывался плотный круг. Впереди — обязательно дети, чтобы маленьким все было видно. Внутри круга — деревянная виселица со спущенными веревками. На земле несколько простых домашних скамеек или деревянных ящиков. Дети должны видеть и запоминать с детства, что воровать нельзя, что поджогом заниматься нельзя. А если ты помогаешь партизанам, то смотри, что за это будет...

Из темных машин выводили в нижнем белье мужчин с дощечками на груди «Вор», «Поджигатель», «Партизан».

Тех, кто «Вор» и «Поджигатель», подводили к виселицам, вталкивали на скамейку и, не дав опомниться, оглянуться, покаяться, тут же выбивали скамейку из-под ног.

Операция «Партизан» была самая длинная, изуверская и... «торжественная». Самого слова «партизан» немцы боялись патологически. Мужчин в городе было очень мало. Но и те немногие прятались по домам. Выходили только ночью. Носили в дом воду, выполняли тяжелые работы для семьи. К январю—февралю 1942 года в каждом мужчине немцам чудился партизан. К казни «партизан» немцы готовились, тщательно режиссировали это «зрелище».

Опять же из машины, очень медленно, выводили несколько человек босиком, в нижнем белье, со связанными руками. Они стояли на трескучем морозе так долго, что это казалось вечностью...

Сначала длинный приговор читали по-немецки. Потом так же длинно переводчик читал этот приговор по-русски с украинскими словами вперемешку. Пар вырывался у него изо рта, замерзал и превращался в сосульки. Они висели на бровях, на усах, в носу. Клубы пара поднимались над толпой и застывали. А люди в нижнем белье и босиком стояли и стояли...

И один раз приговоренный к казни через повешение не выдержал и крикнул: «Давай, сука! Чего тянешь!»

Толпа загудела. Защелкали автоматы... И вдруг над толпой

раздался высокий голос: «Сыночки ж мои риднэньки! Быйтэ их, гадив! Мий сыночок на хронти...»

Она еще что-то кричала, но ее уже отталкивали в сторону. Раздалась автоматнаяочередь. Все смолкло. Стояла тишина.

Как только казнь бывала совершена, немцы быстро, прикладами в спину, разгоняли людей. Они боялись всяких бунтов, выступлений массы.

Я не могла смотреть, как выбивают скамейку и человек беспомощно бьется. Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое «казнь через повешение». И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами. Чуть не упала. Потом я уже все знала... Я боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом маме в живот. Но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впилось мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице. Смотри! Запоминай! Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть. Их носили офицеры.

Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забывала. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам.

# СКАЗЁНКИ

Посередине комнаты стояла железная печка. Мы сожгли всю деревянную мебель — стол, стулья, буфет. Мама завидовала тем, у кого была деревянная кровать. А наша с шариками — железная. Она не горит. Тепла от печки хватало ненадолго... И опять холод, холод... Из окон дуло. Из щелей балкона дуло. С внутренней стороны окна были сантиметров на десять покрыты льдом. Если на ночь на окне оставалось полотенце или тряпка, то наутро их уже не оторвать. Вода в ведре покрывалась за ночь коркой льда. Целыми днями мы лежали с мамой в одежде, набросив на себя все, вплоть до ковровых дорожек. Тулились ближе друг к другу, чтобы согреться, и молчали. Говорить не было сил. Каждый тихо лежал и думал о своем. Я думала о папе...

...Вот мы идем с папой по Сумской улице. Папа мне все покупает. А я все время ему задаю вопросы: «А что это? А кто это?» И он с удовольствием отвечает мне на каждый вопрос. На ходу перевоплощается в продавцов, животных, милиционеров — в тех, кто меня интересовал. И так нам весело, так интересно... «Якая умныя девычка! Исключительно допытливая».

Один раз я его сильно озадачила. Увидев издали нашего знакомого, папа мне сказал:

— Дочурка! Хто ета? Познай... Во-онин идеть...

— Папусик, почему ты говоришь «вонин»? Надо говорить «вон он», понимаешь? Ты неправильно говоришь, папа.

— Лель! Ты скажи на милыть, такая соплюшка и вже заметила...

А через время:

— Лёль! Ета ж скока Люси тогда було? Года четыре? Ну да, четыре года. И вже родного отце вчила. Та што там говорить... Во ребеныk!

С детства я страдала тайно, что папа так неграмотно говорил. Был даже в моей жизни позорный период, когда я его стеснялась. Правда, это длилось недолго. Как мне теперь стыдно за тот период!

Чем старше я становилась, тем все больше и больше задумывалась, как могло произойти, что два этих совершенно разных человека — мои отец и мать — могли прожить вместе всю жизнь...

Я постоянно, в разные периоды своей жизни, приставала к маме с одним и тем же вопросом: «Ну как ты — умная, из интеллигентной семьи — могла выйти за папу? Ну, скажи, мам, неужели ты не слышала, как он говорит, какой у него характер?

Ведь все же сразу и слышно, и видно. А? Ну, мам, ну скажи...»

— Ну, видела... — всегда неохотно отвечала мама. На эту тему хоть клещами из нее вытягивай.

— Ну и что же? Скажи, мам! Мне это очень нужно... пожалуйста!

— Не знаю... вот так... Ах, ну зачем тебе это? Это... не объяснишь.

Люди тянулись к нему. Везде он был в центре внимания. Не успеешь прийти с папой в незнакомое общество, как вскоре около него компания, шутки, смех. Услышав веселье, со всех сторон к его компании присоединяются другие. И вот уже все бурно смеются. «Ну когда он успел? Что за человек?» — тихо жаловалась мне мама, хотя я видела, что это ей приятно.

Многие пользовались его добротой, многие его обманывали.

— Лёль! Сегодня видел Удава.

— Он тебе деньги отдал?

— Да не-е, он, як увидев меня, зразу голову — брык униз, мол, на земле шо-та ищеть. А я думаю, дай перейду на другую сторону от греха подальший. Не, Лель! Он не оддась, ето дело пиши пропало... Он за копейку з церкви спрыгнить.

«Удавом» папа прозвал своего коллегу, баяниста дядю Сеню. Это прозвище дядя Сеня получил за скупость, за то, что много и жадно ел. Мы с мамой смеялись до слез, когда за столом папа показывал Удава во время обеда: «Во жрёть! Мамыньки родныи, не вспеишь у сторону голову отвесть — на столе вже ничёгинька нема! Тока блысь — и кругом чисто! Ну ты скажи на милысть, жреть, як удав».

Удав да Удав. А что его зовут Семен, все забыли, даже его жена. Она жаловалась маме, что его трудно прокормить: «Все проедаем... Точно твой Марк назвал Удавом».

Папа многим давал свои прозвища. Был «Паштетик» — тоже баянист. Маленький, толстенький, рыхлый. На закуску любил больше всего паштет и называл его любовно — паштетик: «Лёля! А для меня паштетик будет?» — «Да ты сам, як паштетик. Такой увесь мякенький, прямо як баба... Ну, давай, Паштетик, садися чуковней...»

Был и «Пароходик». Баянист дядя Шура. Прозвище получил за то, что его лицо от носа к ушам шло острым, как нос у парохода, углом. Но дядя Шура был хороший и добрый человек. И папа его назвал «Пароходик».

«Ну, Паштетик, Пароходик! Давайте — за честь, за дружбу!» Это был знаменитый и постоянный папин тост. Многие запомнили этот тост и Марка Гавриловича... Какие бы витиеватые и остроумные спичи ни произносились за столом, папа всегда

терпеливо дожидался конца, а потом вежливо заключал оратора: «Ну, так, значить, за честь, за дружбу?» О чем бы ни был предыдущий тост, папин «за честь, за дружбу» подходил ко всему и как бы ставил нужную точку.

Когда папочке было уже семьдесят лет, он жил в Москве. У него и здесь были друзья-пенсионеры. Они тоже имели прозвища. Был «Чугун». Папа его прозвал так за крепкое сложение, да к тому же тот всю жизнь проработал на чугунолитейное заводе. Второй — «Партизан». Во время войны был в партизанском отряде. Чугун и Партизан — два опрятных старичка с собачками, осторожно стучали три раза в дверь. Они боялись маму и потому не звонили, чтобы не причинять беспокойства. А когда мама открывала им, они испуганно и ласково спрашивали ее: «Марк Гаврилович выйдет вечером гулять? Без него... скучно. Передайте, что мы его ждем в садике...»

Удав, Паштетик, Пароходик, Чугун, Партизан... Все ждали папу. Ждали его рассказов. Он умел в «историях» перемежать грустное и трагическое с неожиданными юмористическими отступлениями. «Ето — штоб дать людям передых». Папа интуитивно точно режиссировал свои приукрашенные импровизации и держал всех в крайнем напряжении.

Самые яркие мои впечатления детства — папины сказки. Сказёнки.

I

Придя с работы домой, папа снимал свой баян с плеч, ставил его на стул и шел мыться. Мама шла по длинному коридору на коммунальную кухню готовить ужин. А я вся тряслась в ожидании, когда же папа скажет: «Ну, дочурка, якую тебе сегодня рассказать сказёнку? Веселую или жалостливую?»

Вопрос этот он задавал каждый вечер. Одновременно с вопросом происходила отрепетированная мизансцена: к концу этой фразы он уже лежал на спине на нашей кровати с шариками. А я торопливо усаживалась ему на грудь, чтобы тут же бодро сказать:

— Жалостливую!

— Для дочурки ув обязательном порядке!

И начиналось!..

Папа знал три сказки. Но они всегда были новыми. Он их называл: «ВОгниво», «Медуза Гаргона». Много позже эти сказки — «ОгнИво» и «О медузе Горгоне и храбром Персее» — я прочла. Они мне показались серыми и скучными по сравнению с цветной, яркой и личной папиной интерпретацией.

А третий сюжет был самый волнующий. «Вольный». Тут — что хотел, то и говорил! Заворачивал в любую сторону. Сюжет про бедную девочку, которую выгнали из дома. При помощи

волшебных сил она скоро становится большой, богатой и красивой. И вот пришло время выбирать себе жениха. Этого момента я ждала, аж дух замирал! По-папиному, все женихи должны были выстроиться в длинный ряд и ждать, кому же принцесса-красавица отдаст предпочтение.

— Ходить она от аднаго до другога ... И никого ни хочить обидеть... И етый парень, краси-ивый, здаро-овый, но идёть она дальший, и етый тоже неплохой хлопиц... опять идеть дальший. И враз остановилася. Глаза у землю опускаить и говорить: «А ето мой муж!» И одеваить ему на палец кольцо! Усе у драгоценных каменнях. И выбрала она себе, дочурочка, высокага, чернявага молодого орла! Глаза блестять, як у цЫгана, нос горбом, зубы, як мел, вусы, як у Будённага... А он ей и отвечаить: спасибо тебе, барышня. Буду служить тебе верую и правдую!»

И я себя представляла той бедной девочкой, которая становится принцессой, и совсем втайне грезила, какой же он будет — этот высокий, чернявый... Это папа с детства нарисовал мне идеальный портрет героя. Бедный папа. Он и не представлял тогда, сколько ошибок и разочарований предстояло мне испытать впоследствии. Сначала в поисках этого «высокага, чернявага», а потом уже и после встречи с ним...

Папа делал все, чтобы я его любила больше, чем маму.

— Эх, дочурочка, було ето у тридцать шестом году. Мы з мамую у санатории работали, под Чугуевым. Да-а, иду я вокурат з работы... Вечереить. Смотрю, ах, ты ж мамыньки мои родныи! Стоить моя дочурка коло заборчика, як сиротка, одна... качаится. Тебе ще тока десять месяцев було. А ета твоя мать уси твои грязные пеленки у мешок поклала, повесила мешок тебе на плечо, а ты ще ходить не вмела... Она тебя и прихилила до заборчика... «Уходи, куда хочишь! Надоело мне тебя кормить и твои пеленки стирать. Уходи у лес з глаз долов!» А тут як тут твой папусик! Увидев свою дочурочку, узяв на руки и горька заплакав, что мою клюкувку, мою богиньку так родная мать обижаить... Чуть ребенка з дому не выгнула...

Мы с папой принимались плакать вместе. По-моему, ему даже нравилось наблюдать за тем, как я плачу...

Входила с ужином мама. Тут же понимала, про что шла речь. А я, прижавшись к своему защитнику, холодно смотрела на нее. Я представляла, как она меня, такую маленькую и беззащитную, прогоняла в лес...

— Марк, ну что ты болтаешь? Ведь это была шутка! Ты ведь сам предложил: «Давай, Лёль, ты выгоняй, а я буду спасать»... забыл? А теперь ребенка настраиваешь против меня. Обязательно тебе нужно быть лучше всех. Черт-те что!..

С папой надо было уметь подбирать слова. Но в тех случаях, когда его так открыто разоблачали, он смеялся добродушно и тут же переводил разговор на другую тему.

— Эх ты, голова! Глянь, як дочурочка реагируить... Я плачу, она враз плачить, борода (подбородок) трусится... Ну вокурат, як в меня. Я смеюся, и моя дочурочка тут тебе влыбается. Не, Лёль, актрисую будить! Ето, як закон.

— Ну зачем ты так безапелляционно это утверждаешь, Марк? Надо быть реальным. Люся девочка неглупая, но она некрасивая. Подумаешь, плачет и смеется! Кто это не умеет? Хи-хи-хи...

Тут моя неприязнь к маме вырастала с невероятной силой.

— Втикай, пока не схватил... А то щас встану... — И папа чуть приподнимался на локтях... Маму тут же как ветром сдувало.

— То-та! Во с кем, дочурочка, я живу! Чистая яга! Сама ничёгинька не вмеить... Иголку, и ту у руках держать не вмеить... Я ей профессию у руки дав, на дорогу жизни вывив. У-ух, якой неблагадарный человек... Во невкюддя, чистая адбайла...

Я узнавала у папы происхождение слова «отбайло». Оказывается, в шахте так называли отбитую породу, которая за ненужностью выбрасывается.

— Не плачь, моя ластушка! — говорил он мне и посылал маме далеко, на коммунальную кухню: — Моя дочурочка ще прогремить. Тогда увидишь! Успомнишь, что говорил Марк. Дай мне господь-бох дожить до етага! Тока штоб фамилию не зменила, штоб усе знали: ето дочурка Марка Гавриловича Гурченко.

Мы лежали с мамой. Есть совсем не хотелось... Почему папа должен «дожить»? Он будет жить всегда. Почему я должна сменить фамилию? У меня всегда будет папина фамилия... Я так близко слышала папин голос...

Интересно, о чем сейчас думала мама?

# ПРОРУБЬ

В зиму 1942 года самым страшным было утро. Ночью спишь, а утром надо было начинать жить. А чем жить? Что есть? Чем топить? Что пить?

Колонки в городе замерзли. Водопровод разрушен. Воду брали прямо из проруби в нашей речке Лопань. Принести воду была моя задача. А мама доставала топливо. Она шла в сад Шевченко, рубила сучья, ветки, сухие корни. Корней было много от вырванных взрывами деревьев. Корни горели хорошо. После бомбежки мама ходила по развалинам в поисках «деревянного». Из разрушенных домов люди выносили все, что горит. Никому не нужными оставались на земле причудливые бронзовые люстры, мраморные головки, большие фарфоровые вазы... За полбуханки черного хлеба на базаре можно было выменять золотые часы. Такие вещи за бесценок отдавали люди, не сумевшие приспособиться к жестокому времени. Когда уже нечего было продавать, они тихо умирали в нетопленых квартирах.

У нас в доме, на втором этаже, жила старенькая женщина с дочкой или внучкой, не знаю. Девушку немцы угнали в Германию. Ей было лет восемнадцать. (Я помню,что мама долгое время боялась выходить на улицу. Всех молодых женщин угоняли в Германию. Когда она выходила, то надвигала платок на лоб и лицо пачкала сажей). Эта старушка заболела и умерла. Мама говорила, что она ее часто видела на базаре.Та продавала дорогие вещи. Когда старушку похоронили, ее квартира оказалась совсем пустой. Даже книги все вынесли — на растопку. Висела люстра с бусинами, стоял железный остов кровати, и в углу бронзовый человек держал факел.

Процветали грубые и крепкие. Они приняли железную логику — или ты, или тебя.. Эти люди как будто вынырнули из-под земли. Одни работали у немцев. Другие открывали лавочки, кафе. А самые страшные стали полицаями. Их боялись больше, чем немцев. Если полицай кого-то невзлюбит... Все! Полицаю достаточно намекнуть немцам, что ты связан с партизанами... И тогда — конец!

Люди боялись друг друга. Разговаривали шепотом, с оглядкой. О делах на фронте — единственном, что волновало всех, — боялись заикнуться.

Когда я спускалась со своими ведрами по нашему переулку на Клочковскую, уже издали видела огромную черную очередь за водой. Черной она казалась на белом снегу.

Уже в наше, мирное время в Москве, по телевизору я часто

вижу репортажи о рыболовах. Все они сидят нелепо близко друг к другу. И у каждого своя личная лунка. А в 1942 году у нас, в Харькове, была одна на сотни людей. Я забываю, что рассуждаю так уже в то время, когда все здоровы, сыты и даже в метре друг от друга ставят рекорды по ловле рыбы! Как все это — и зима, и рекорды, и прорубь, и люди — не похоже на ту зиму, страшную, голодную зиму сорок второго! Люди еле-еле двигались, экономили силы... А лед в Лопани был такой толстый, зловещий. Его не пробьешь...

Стою в очереди, закутанная с ног до головы. Торчит один нос. Руки и ноги замерзают, едва только выходишь из дома... А еще идти до проруби. А еще стоять...

А люди в очереди серые, мрачные. И ни одного слова. Прямо гробовое молчание. И дети сурово смотрят. И тоже молчат...

И так хочется с кем-нибудь поговорить! Чтобы не хотелось есть, чтобы не хотелось спать...

У каждого палка или кочерга, чтобы отталкивать трупы. Немцы зимой трупы сбрасывали в Лопань. Течением их доносило сюда. Иногда они застревали около проруби. Воду обязательно кипятили. И попробуй забудь эту кочергу! Никто не даст. Все набрасывались на такого несчастного, как будто он — причина всех бед.

Сначала я всегда набирала два полных ведра. Так хотелось порадовать маму! Сделаю десять шагов и понимаю — не смогу, не донесу. Начинаю потихоньку отливать. Иду — отолью. Еще иду — еще отолью. Несу окоченевшими руками проклятые ведра, считаю шаги: «Папа на фронте, ему трудно... всем трудно... маме трудно... Я донесу, я должна донести! Немного, но донесу».

# МЕНКА

Мама разложила на кровати папин габардиновый серый макинтош и свое темно-синее шевиотовое зимнее пальто с большим котиковым воротником.

Вот мама! Я думала, что она все уже продала. Сама ходит мерзнет, а пальто лежит. Ей всего жалко... Всегда она так.

— Вот, Валя, купили перед самой войной... Марк говорил: «Зимой будешь ходить в самом модном».

Папа всегда заставлял нас примерять обновки. Он так любовался нами, особенно мною, своей дочуркой. В тот жаркий день даже в нашей подвальной комнатке было душно. Но мама «подчинилась» и надела новое зимнее пальто.

— Во, Лялюша! Тебе твой любимый муж, Марк Гаврилович, сделав подарок от чистага серца. Будишь ходить, як пава. Правда, ты етага не стоишь, ну ладно, хай вже так будить...

И чтобы у мамы не упало настроение, он тут же сам надел свой макинтош и фетровую шляпу.

— Лель, глянь! Я як профессор... ну, пока не заговорю... — Папе очень нравились интеллигентные профессии: инженер, доктор, профессор. — А? Я такога ще зроду не носив... Бувало, у диревни батька лапти сплететь, а мать новые штаны пошиить, да новые онучи... Та што там! Иду и света божжага не вижу! А щас в меня вже «макинтошш». Э-э-эх! Лялюша! — И сделав вдруг высокий прыжок, изогнувшись, приземлился легко на полусогнутые ноги, положил маме голову на грудь и пошел по комнате турами танго «Я возвращаю вам портрет»...

Это танго в то время он разучивал на баяне. Когда папа разучивал «новую вещь», мы с мамой сидели на кухне. Мы боялись попасться ему на глаза. Разучивать «новую вещь» было для него пыткой. Ноты папа читал плохо. Шевелил беспомощно ртом, вид у него был растерянный и жалкий. Я слушала и мучилась: «Ну что он так долго не может запомнить... тут ведь так просто". В часы работы над «новой вещью» он пересыпал эти ноты таким отборным многоэтажным матом, какого я больше и не слышала нигде...

Папа мой как-то умел сочетать самые несовместимые элементы русского мата в одной длинной нескончаемой фразе... Да так, что после этого в компании наступала пауза. Даже самые искушенные дружки сидели некоторое время озадаченные, гадали — как такое можно придумать? Постепенно глаза у них начинали блестеть: «Н-ну... н-ну... Марк Гаврилович!.. Ну ты... ну ты... это ж... прямо...» Но слов не находили. Только немой восторг! «Ну,

так что ж, братва, за честь, за дружбу?» — и папа моргал нам с мамой, мол: а? как я их... озадачил...

Я страдала, когда он с кем-то разговаривал, а человек на него внимательно смотрел:

— Простите, вы родом откуда?

— Я буду родом из Смоленський губернии з диревни Дунаевщина. Там вокурат брянские леса начинаются... А што, я неправильно выговариваю?

— Нет, нет, что вы! Вы удивительно образно доносите свою мысль. Очень индивидуально, что ли...

У меня на сердце становилось легче. Так же я страдала, когда папа играл на баяне. Иногда он на басах не менял гармоний, а четко отбивал ритм на одном месте. Но преклонялся перед талантливыми коллегами, восхищался ими.

Это было уже после войны. Папа и мама работали во Дворце пионеров, который находился тогда на Сумской улице. А сейчас в этом здании со львами у входа Дворец бракосочетания.

Массовика, баяниста и детей из самодеятельных кружков Дворца пионеров пригласили на харьковское радио. Нужно было сделать запись под рубрикой "Разучивание на массовке во время праздника новой песни".

Мама меня поставила перед самым микрофоном. Как только папа заиграл, а мы запели, режиссер передачи и звукорежиссер стали о чем-то шушукаться... Через десять минут пришел другой баянист. Выяснил у папы тональность... Заиграл чисто, профессионально...

Я глубоко дышала, чтобы скрыть слезы... Щипало в носу... Мама смотрела на меня жалко и растерянно... А папа, вместо того чтобы тут же исчезнуть, сидел и восхищенно смотрел на баяниста: «Ну, брат... куда мне!! Ты настоящий талант... Играешь прямо як зверь!.. Быян у тебя слабоват... Можа, возьмешь мой? Мой лучий...»

У папы был лучший инструмент в городе. Баяно-аккордеон итальянских мастеров — братьев Грозио, «Фрателли Грозио», — с удовольствием читал папа на баяне незнакомые иностранные слова. Баян переливался белыми и красными камнями. На солнце и при ярком свете так горел, что собирал вокруг себя народ. «Я если не игрою, так быянум беру, — и тут же демонстрировал четыре регистра, четыре звучания эаграничного инструмента: — Хочишь — баян, а хочишь — аккордионум з рОзливом будить, вОйна и флейта и концертина». К нам домой приходили делегации, чтобы «инструмент» посмотреть. Папа был счастлив!

Но разве тогда, на радиозаписи, в баяне было дело? Ну зачем, зачем он его предлагал баянисту? А тот еще играл на нем и

хвалил баян. Почему, почему ты, папочка, сразу не ушел?

Я первая выскочила из радиокомитета, добежала до сада Шевченко... И там, в кустах, горько плакала... Как мне было больно и горько за моего папу! Но чем я могла ему помочь? Сказать ему: «Папа, здесь надо менять бас, здесь уже другая гармония... Нельзя, папочка милый, играть на двух парах басов.. Папа, так уже сейчас играть нельзя...»

И неизвестно, чем все это могло кончиться. Он мог и баян «об землю вдарить, и пустить в тебя что «под руку попало». Или мог заплакать: «Дочурочка, дорогенькая! Ето правда, баян — ето не мое дело... Мне бы земельку, садик. Не нада, дочурочка, над папусиком, не нада. Он тебя «на двух парах басов» выкормив, вывчив, дав образование. А мы з Лелею и так свой век доживем... на двух парах...»

...— Лёля! За пальто и этОт рОскошный макинтош на базаре тебе дадут кОпейки. ЭтО же нЕ люди! НастОящеё шакалье! У тебя жё доця! Новое делО! Чего ты бОишся? Все ходят! Да, этО риск! Да сейчас вся наша жизнь — риск! ПОйдешь, а доцю Оставишь со мной... РассчитаЕмся пОтом...

Речь шла о «менке». Так назывались походы женщин в деревни. Небольшими группами они пешком шли в деревни. За хлеб, сало, муку отдавали вещи, которых не было в деревне.

У меня до войны были санки со спинкой, как стульчик. Мама взяла их с собой. (Вот и саночки «дочурочкины» пригодились. Меня в них катала нянька Маруся. Папа всегда хвастал, что «мы до войны жили як буржуи... У Люси до садика была нянька». Маруся была из деревни. Прожила у нас недолго. Теперь я понимаю, что она просто влюбилась в папу. Ну, и с ней пришлось расстаться... У мамы потом часто вырывалось: «А Маруся?» «Э-э, кума, куда поехала. Что успомнила...» — На этом моменте папа не любил долго останавливаться. Важно, что нянька была, а «што там и як - ето усе не важно. Корочий, жисть есь жисть»).

Рано утром, когда я еще спала, мама с двумя женщинами из нашего дома ушли не менку.

— Доця! Вставай! Мамки нет. Будем жить с тобой вдвоем. Только ВалИ надО слушать. Ясно? ПридумАем что-нибудь шикарнОе! Хо-хо! Доця!

# АЛЛЕС НОРМАЛЕС

Так вот чем занималась тетя Валя! Я все время наблюдала за ней. Чем же она живет? На грабиловку не ходит. На менку не ходит, несколько раз я ее видела утром в коридоре. Она уже откуда-то возвращалась. В сером платке, в жалких старых фетровых ботах, совсем ненакрашенная. Может, заболела? У мамы спросить? «Не твое дело»... И никак нельзя ничего пронюхать. Прямо какая-то загадка, тайна...

Через некоторое время из ее комнаты доносился вальс Штрауса. Тетя Валя, переодевшись, на ходу расчесывая свои пышные волосы, выходила на кухню и ставила на керосинку свой голубой чайник.

Вот же необыкновенная женщина! Только что она была жалкая, стертая, а сейчас роскошная, неузнаваемая! На ней были широкие расклешенные брюки ярко-синего цвета. Она их перешила из японского атласного халата. По бокам, вдоль бедер, сидели на ветках два зеленых с желтым попугая. Шик!

— Как твои дела, Валь?

— О! У меня все «аллес нормалес»... хо-хо!

О чем они с мамой так непонятно говорят? Ах...

И когда мы остались одни, тетя Валя под секретом посвятила меня в свое «дело». На базаре у деревенских теток она покупала нитки. Они были спутаны в огромные мотки. Дома тетя Валя долго и терпеливо их разматывала. Потом тетя Валя аккуратно выстругивала из дерева палочки. И на эти палочки на специальной машинке наматывала нитки. Получалась катушка, но без дырки посередине, глухая. Но и их раскупали на базаре в момент. Тетя Валя меня брала с собой. Я видела «успех» катушек собственными глазами.

Когда я стала помогать ей распутывать огромные залежавшиеся мотки, я убедилась, что у тети Вали не такой уж легкий хлеб. Я тогда была поражена ее терпением. Она производила впечатление такой избалованной, поверхностной дамочки... А когда я сама несколько часов провела за этим скучным, нудным занятием, я стала более внимательно следить за тетей Валей. Нет-нет! Она совсем не такая легкомысленная, как я думала.

А перед самым возвращением мамы с менки тетя Валя мне раскрыла самый важный секрет.

— А тЕперь главнОе, доця! СмОтри и запОминай! На эту палОчку мы незаметно наматываЕм тряпОчку... ПОтом красивО прикрываем все это дело нитками... Что мы имеем, доця? Мы

имеем то, что нам надо... Экономим нитки и увеличиваем количество катушек... «Аллес нормалес», доця! Тебе ясно? Доця!

Ну что же тут неясного? Что за тетя Валя! Такое придумать! Ведь все так просто. А сколько прибыли. Это тебе не моя мама — правильно говорил папа: «ничегинька не вмеить». Только и могла придумать, чтобы меня маленькую с пеленками из дому выгнать. А тетя Валя — талант, актриса!

С ней было так интересно. Я часами могла смотреть, как она расчесывает свои волосы. А когда у нее было хорошее настроение, как она сама говорила: «сегодня, доця, у меня все «аллес нормалес», что по-русски означает «жизнь прекрасна», — то это были самые счастливые дни в зиму и начало весны 1942 года.

Тогда мне даже разрешалось померить косу. Я ее оборачивала вокруг головы. Чубчик и коса... Я, счастливая, улыбалась своему отражению в зеркале... Мне даже не мешало отсутствие двух передних зубов... Я примеряла разноцветные боа. Я обмахивалась черным пушистым веером. Если тетя Валя выходила на кухню, я тут же пудрила свой нос ее огромной голубой пуховкой...

Ну, а если мне еще разрешалось полежать на кровати с ангелами на спинках... О! Я лежала, «як принцесса», и мечтала о том, что, когда я вырасту, у меня будет кровать с ангелами, много перьев и боа, абажур с бантом, много разноцветных флакончиков, и еще очень, очень многого хотелось.

У тети Вали я научилась кроить «на глаз». Без выкроек. Тетя Валя положит перед собой «материю». Чик-чик — и уже через пятнадцать минут идет примерка. А я тут наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр. Готова выполнить и предвосхитить малейшие ее желание. Да, действительно «аллес нормалес», что в переводе на русский язык означает «жизнь прекрасна». И мы обе в упоении мурлыкаем «Большой вальс».

# ПИР

Ночью я услышала мамин голос. Она громко смеялась. Я встала и пошла к тете Вале. Мама отсутствовала больше двух недель. Они, пока ходили по деревням, спали где попало, одетые, нерасчесанные. У нее на голове образовался колтун... Расчесать его уже нельзя было никакими силами, и Валя отрезала у мамы на голове целый ком волос.

— Санки иногда приходилось тащить по земле... Снег тает, — весело говорила мама. Она опять была счастлива, как на 1 Мая!

Стоял уже март. Весна. Значит, не будет больше холодов! Я бросилась к маме.

— Уже все знаю. Тетя Валя мне все рассказала. Хорошо себя вела. Я довольна. Я привезла много вкусных вещей. Сейчас помоюсь и будем кушать.

Ну никакой романтики! Все прозаично. Делово. Вот бы был на ее месте папа! Вот это был бы спектакль! Но папы нет...

На столе лежал большой круглый пшеничный хлеб, крутые яйца, мед! Пир!!! Мы сидели у тети Вали за столом. Мы смотрели на еду и боялись притронуться.

— Ешь, Люся, не бойся, это все наше, — сказала мама. Мы ели медленно, чтобы запомнить этот день. Когда еще такое будет. Стола у нас не было. Мы его сожгли, Все важные события и праздники отмечались у тети Вали.

Мама рассказывала про менку. Она считала, что ей повезло. Правда, туда она еле дошла. Истерла в кровь ноги... И ночью осталась одна в лесу...

— Такой страх! Лес. Тишина. Стемнело мгновенно. Нам посоветовали идти поодиночке, чтобы не испугать хозяев... Все-таки, когда видят, что женщина одна, не так страшно впускать. Стою, Валь, в лесу со своими санками и думаю: ну хоть бы бомба упала! Хоть ложись и помирай... Потом прошла еще, вдруг слышу собачий лай. Как брошусь бежать! Как будто за мной гонятся. Откуда только силы взялись? И как в сказке, Валь! Хатка чистенькая, беленькая стоит, из трубы дым. Только бы пустили!

Хозяева молодые, муж и жена... Пустили, обогрели. Я как заплачу! Истерика началась. Не смогла поверить, что тепло, что рядом добрые люди — все время ждала от них чего-то плохого. Знаешь, в деревне совсем другие люди, чем здесь, в городе. Держалась-держалась и не выдержала, Валь! Ела я яичницу с салом и все думала, как бы Люсе спрятать. А потом соображаю: пропадет ведь... И опять ем, ем, ем. Они на меня все смотрели,

смотрели. Спрашивали — есть ли дети. Я сказала, что есть дочка. «А в нас нэма дитэй. Нэ послав бог...» Жаль, говорю, а сама думаю — ну и слава богу, что не послал, знали бы вы, как дети в городе мрут. Да! Немцев они почти не видели. В те хаты, что стоят около леса, немцы не заходят, боятся партизан. Так что о войне они почти ничего не знают. Расспрашивали... Ну, я так, кое-что рассказала.

За папин макинтош и свое шевиотовое пальто мама привезла мешок муки, сало и бидончик меду.

Моя мама не любит вспоминать те страшные годы оккупации. А особенно «грабиловку», «менку»... У нее сразу портится настроение. Она становится мрачной, замкнутой. А мне так нужно узнать некоторые подробности. Я к ней и так, и сяк. Но не вытянешь ничего. Говорит, что немцы вошли в Харьков 24 октября 1941 года, а ушли навсегда 23 августа 1943 года. Так это же всем известно!

Тогда я ей сама начинаю рассказывать в надежде, что она меня поправит, подскажет. Я ей рассказываю — про нее же, а она только хмуро бурчит в ответ односложно: «Ну? Ну? Ну так... Ну... Ну было... И это было. Точно так и было. Так. Да нет, я ждала, чтобы упала бомба, ждала — понимаешь? Это не расскажешь... Ну? Да они на меня смотрели как на ненормальную. Я одна съела две огромные сковороды яичницы с салом. ВалИ? Ох, ВалИ, ВалИ... Интересно, жива она еще? Она на пять лет старше меня. Ей сейчас шестьдесят семь лет. ВалИ тогда тоже подрубала (подъела) подходяще. Ах, Люся... Зачем тебе это все копошить. Как вспомнишь, жить не хочется. Жизнь — это сложная штука. Знаешь, если говорят райский уголок, то мне с тех пор он представляется в виде белой хатки. Из трубы дым, в доме молодые хозяева. Кормят, утешают, и главное — там очень тепло».

# ГОВОРИТ МОСКВА

На Сумской улице немцы открыли кинотеатр. В театре имени Шевченко заработала оперетта. Дворец пионеров на площади Тевелева отремонтировали. Теперь это здание было «только для немцев». Значит, немцы в Харькове устраивались надолго.

Пришла весна. Мы открыли окна и балкон. Я «открыла», что наш балкон выходит во двор того здания, которое потом стало моей школой.

Сейчас в этом здании расположилась немецкая ремонтная часть. Во двор въезжали машины, выгружали ящики, металлические детали, гусеницы.

Всем женщинам нашего и соседних домов было приказано утром собраться, для чего — не сообщалось. Но за неподчинение приказу — расстрел. А вдруг новая волна вербовки в Германию? Мы не спали всю ночь.

Утром я вместе с другими детьми бежала за строем наших мам. Они скрылись внутри этого здания. А мы спрятались за ящиками и смотрели на окна этого очень широкого двухэтажного здания. Там были и мама, и тетя Валя, и тетя Фрося, и мать Зои Мартыненко... Других помню только в лицо.

Окно на первом этаже распахнулось. Из него высунулась улыбающаяся тетя Валя: «Доця! Ты где? Скорее сюда!» «Люся! Не бойся!» — это уже мамин голос. Я подбежала к окну и схватила на лету серый узел: «Доця! Все половые тряпки из дома неси... скоро! Одна нога здесь, другая там!»

В узле было два новых байковых халата. В таких ходили раненые в немецких госпиталях. Женщин собрали для того, чтобы они вымыли полы, вычистили здание. А тетя Валя сообразила, что халаты могут пригодиться. Полы можно помыть тряпками.

Свой халат она выгодно продала на базаре. А мне из халата пошили курточку на молнии и шаровары с большим запасом внизу — «на вырост».

Я мигом слетала на четвертый этаж, собрала все тряпки — и обратно. Окно было открыто. И, подбегая, я услышала немецкую песню. Ее пели «не живьем», а по радио.

Как давно я не слышала радио! Да и было ли это когда?

Тихо влезла на ящик, всунулась в окно и наткнулась прямо на немца, который подпевал и дирижировал себе:

— О, киндер! Вас ист лёус? Во ист мутер?

Мама произнесла сдавленным голосом:

— Пан, ист майн киндер... — В школе мама учила немецкий язык. Он посмотрел на ворох тряпок у меня в руках,

что-то понял. Взял тряпки у меня из рук и бросил их маме, погрозив ей пальцем. Все время он улыбался.

Комната на первом этаже была самой большой в здании. Когда я уже училась, здесь был спортивный зал, потом столовая.

Тогда в этой комнате стояли спинки и сетки кроватей, ящики, чемоданы. Одна кровать была покрыта серым одеялом. Я подумала, что она принадлежит тому немцу, а музыка раздавалась из большого приемника, который стоял на ящике рядом с кроватью.

Немца звали Карл. Он был денщиком у командира этой части. Наше знакомство состоялось в тот день, когда он не наказал маму. Первый раз я видела тогда «другого» немца. Немец ведь — и хороший...

Я осмелела. Решила: мама и тетя Валя моют полы, немец слушает концерт и следит за их работой. А я пройдусь по двору — может, что-нибудь найду такое, что пригодится в доме...

Папа все нес в дом. И железки, и дощечки, и гвоздики — «усе у доми хай будить про всякий случай». У него было огромное количество пилок, молотков, напильников, рашпилей. Скорее можно сосчитать, чего не было.

Папа меня учил: «Як идешь по улице, смотри униз на землю. Можа, якая провылка или гвоздок попадеть — усе неси у дом, моя птичка. У хазяйстви усе згодится, усе нада иметь про всякий случай...»

В доме папа постоянно что-то пилил, строгал, тесал. И непременно в комнате или в том месте, где его заставала идея что-то смастерить. И желание сделать квартиру уютной у мамы постепенно пропадало. Придет папа с новой идеей — и все сначала...

А я так и ходила по улицам, глядя вниз. Мои карманы вечно были набиты ржавыми гвоздями, винтиками, проволокой. Не было ни одной свалки, мимо которой я равнодушно могла бы пройти. Все развалины вокруг были мною тщательно исследованы.

В этом дворе не нашлось ничего такого, что могло бы пригодиться в хозяйстве.

Немецкая музыка уже кончилась. По радио говорил мужской голос — наверное, немецкие известия. Сижу под окном на ящике и жду своих. Потом «затрыкал» приемник — музыка, речь, хор, марш: немец что-то искал.

— Тсс... Ком, ком, рус панинка, Москау. Тсс, Москау...

«Говорит Москва. От Советского информбюро...» — И на весь двор полилась из окон русская речь!!!

Я поднялась и заглянула в окно. Женщины стояли в углу,

сбившись в кучу. «Левитан, Левитан! Фрося, держись, не плачь, а то он поймет...» — доносилось из-за угла. Левитан говорил что-то очень важное. Лица у женщин были просветлевшиие, торжественные, в глазах стояли слезы.

«На фронтах... оставили город... несут потери...»

Немец улыбался. Он был искренне рад, что преподнес «сюрприз» русским «панинкам». Он улыбался даже тогда, когда красивый голос произнес: «Победа будет за нами. Смерть фашистским захватчикам!»

После «Левитана» начался концерт Краснознаменного ансамбля. Немецкие офицеры шли по школьному коридору. А когда услышали нашу песню, засмеялись:, «О, рус Катюша... Катюша!» И пошли, чеканя шаг... А хор пел:

Бей, винтовка,
Метко, ловко
Без пощады по врагу!

# «НАДО ВЫДЕЛИТЬСЯ»

Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью немецкой части. Утром они делали зарядку, бегали по кругу.

Через год я поступила в школу. На уроках физической подготовки я бегала по этому же кругу десять лет...

Потом всю часть выстраивали, читали приказы, распоряжения. Половина немцев уезжала до обеда. Возвращались грязные, в грязной спецодежде, опять выгружали с машин металлические детали.

Ели три раза в день, из котелков, прямо во дворе. Там же стоял большой котел на колесах. У меня из головы не выходил тот добрый немец. Он ведь тоже ест три раза в день...

Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Они очень бурно и громко смеялись. Смешно им было все. Иначе откуда столько смеха? Тогда я услышала звук губной гармошки. И не могла понять и разглядеть, что же издает такой неполноценный звук.

Вдруг один немец понес свой котелок в противоположную от входа сторону. Куда? Чуть не свалилась с балкона, так свесилась с него... И увидела, как он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки.

Я скатилась с четвертого этажа, побежала в том направлении, где только что видела девочку. Тут стояла толпа детей с кастрюлями.

Проход на территорию части был закрыт железными трубами. Но кто-то в одном месте их раздвинул. Через эту лазейку можно было проникнуть во двор, поближе к котлу на колесах. Можно поискать того доброго немца.

Вечером я уже была в толпе детей. Для первого раза взяла самую маленькую кастрюльку.

Папа мне говорил с детства: «Ничего не бойсь, дочурка. Не стесняйсь. Дуй свое! Актриса должна «выделиться». Хай усе молчать, ждуть, а ты «выделись» ув обязательном порядке... Ето, дочурочка, такая профессия, детка моя...»

Долго стоять молча, выпрашивать жалким взглядом? Нет. Надо заработать! Надо «выделиться». А как хочется есть!! А какой запах! Я и сейчас его слышу. Густой фасолевый суп!

От ожидания чего-то неизвестного все тело тряслось. Я не знала, что я буду делать... Но что-то будет. Это точно.

Начали получать ужин... Начали его есть... Смолкли разговоры. Только аппетитное чавканье...

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой!

Голос мой дрожал. Я давно не пела во все горло. А мне так нужно было петь! Петь! Петь!

С разных концов двора раздались нестройные аплодисменты. И этого было предостаточно... Ах так? Так нате вам еще! Только спокойно!

Ду грюнист зих цу зоннэн шейн
Ун нох ин винтер ванн эс шнайп,
О, таннэн баум унд таннэн баум
Ви грюн зинд дэйнэ блэттэр...

Несколько немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на русскую девочку, которая хоть и неправильно, но пела на их родном языке...

Домой я принесла полную, до краев, кастрюльку вкусного, жирного фасолевого супа! Ничего! Завтра возьму кастрюлю побольше!

Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я маму голодной не оставлю. Я тоже вышла на работу.

# ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Летом 1942 года был такой период, когда я была основным кормильцем. Я гордилась, что слова «Люся принесет обед» воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Лето, зелень, солнце, фрукты, базар. И уже совсем другое настроение. Были бомбежки, но реже. К ним привыкли. О смерти не говорили. О зиме вспоминать не хотелось.

В театре оперетты мы не были. Но были в кино. Фильмы шли на немецком языке, без субтитров. Немцы в гражданский кинотеатр не ходили. Они не появлялись в тех местах, где собиралась масса людей. Немцы боялись партизан.

Мы купили самые дешевые билеты. Это я очень хорошо запомнила. Тетя Валя сказала, что «уже если пОшли, то будем сидеть как люди». А мама сказала, что люди сидят и на первом ряду и что если бы она знала, что билеты такие дорогие,— ни за что бы не пошла! Ну, а я подумала, что мама всегда так. Бедный папа. Как ему с ней было тяжело...

Мы сидели в первом ряду, справа от середины экрана. На нас все смотрели. Точнее, все смотрели не на нас, а на тетю Валю. Сзади волосы у нее были подвернуты в большой валик. А впереди, открыв красивый лоб, возвышался огромный кок. Такую прическу тогда носили все женщины, даже моя мама. Но как всем им далеко было до тети Вали! На ней было крепдешиновое платье — голубое с розовыми цветочками, высокими плечами. На груди огромный бант — розовый, без цветочков, прикрепленный с двух сторон к платью. На ногах знаменитые «ковровые туфельки». Я расстроилась за тетю Валю. Такая дама. И в первом ряду. А лично мне было очень приятно сидеть в первом ряду: экран рукой подать, никто не мешает. А звучит как! Первый ряд, а не какой-нибудь там последний, задворки.

Но тетя Валя умела мгновенно перестраиваться. Пока я за нее переживала, она уже весело острила и шутила с мамой. Тетя Валя уже чувствовала себя королевой. Довольная сидела в первом ряду, как будто так и надо. «Доця! Улыбнись! Аллес нормалес!» Теперь уже она меня утешает. Я за ней внимательно следила и все мотала себе на ус.

О фильме в городе говорили: красота, любовь, танцуют, поют, войны нет, еды у них полно — такая жизнь — закачаешься!

И вдруг вместо фильма показали немецкую кинохронику.

В первый раз я увидела Гитлера. Он дергался, неистово кричал, угрожал, выбрасывал руку вперед. За ним — тьма рук: «Хайль!» Гитлер с челкой, с усами.

Пока я сидела, погруженная в «политику», на экране, без перерыва, началась картина «Девушка моей мечты».

И хроника, и картина шли без перевода. Понимай, как хочешь, сочиняй любой диалог. Даже интересно.

Мы возвращались домой. Очень скоро уже мама говорила тете Вале про менку, про базар, про сахарин. Как же так? Мы впервые были в кино, слушали музыку, видели актрису, которая пела, прекрасно танцевала... А они опять про свое. Это все мама — и тетю Валю подавляет, и мне не дает оторваться от земли...

Ночью мне никто не мешал. Моя душа разрывалась от звуков музыки, новых странных гармоний. Это для меня ново, совсем незнакомо... Но я пойму, я постигну, я одолею! Скорее бы кончалась война. Скорее бы вернулся папа. Скорее бы услыхать: «Не, Лель! Дочурка актрисую будить ув обязательном порядке! Моя дочурочка прогремить».

Наутро у тети Вали была прическа, как у Марики Рёкк. Впереди маленькие колечки, а сзади плыли волны волос по плечам.

Наутро я встала с твердым решением: когда вырасту — обязательно буду сниматься в кино.

# ШАУШПИЛЛЕР

Я выучила песню из того фильма: нашла внутри двора дверь, из которой нас выпускали после сеанса, села на ступеньки. И совсем рядом, из динамиков, полилась музыка.

У меня даже выработался собственный сюжет оригинального фильма. В нем играли тетя Валя в прическе Марики Рекк, мама, папа и я. Когда совсем уж не обойтись, появлялась сама звезда — Марика Рекк!

К этому способу выучивать музыку из нового фильма я прибегала потом всегда, когда не было денег на кино.

У Карла теперь был новый шеф. Настоящий зверь. Он ходил в золотом пенсне, со стеком в руке, точно таким же, который впился мне зимой в подбородок. Стек я рассмотрела совсем близко. Красивая коричневая с горбиками блестящая плетка. На конце сужается и похожа на змеиный хвост.

Детям запретили не только входить на территорию части, но и стоять около железных труб. А мы уже привыкли. Карл меня предупреждал, что новый шеф «нихт гут, Лючия нихт зинген». А я не поверила, пока не попалась. Шеф тихонько подкрался сзади с несколькими солдатами. А потом как закричит, и своим стеком налево, направо. Мне досталось по плечу, сильно, даже кастрюля покатилась.

Теперь мы знали: если на территории тихо, значит, шеф на месте. Если смех и губная гармошка — значит, можно рискнуть и приблизиться.

Я исполнила песню из кинофильма «Девушка моей мечты»! Назло всем! Назло шефу, который ее никогда не услышит... Назло боли, которая ныла на плече и в сердце. Назло врагам! Я спела ее по-новому! Дома продумала движения, напоминающие танец Марики Рекк, и разложила их на каждую строчку текста песни. А в конце, чтобы добить, должна быть «папина чечеточка» и мое «Х-х-ха!»

Слова от прослушиваний сами собой заучились. Значение слов «нахт», «менш» и „аляйн» — знаю. Значит, о чем поется? Что ночью люди одни. А «либен» — это очень похоже на русское «любовь». Так что если хорошо пошевелить мозгами, то в песне все очень просто:

Ин дер нахт
Из дер менш них гер аляйне
Байдер либе унд геле монде шайне
Дойн ди шейнсте зи висен вас их майне

Андер зайцун, андер зайцун
Ау сердем... Х-х-ха!

Я ожидала, что будет переполох, будут кричать такое ободряющее «браво».Я все нафантазировала.

Все грустно улыбались, вежливо аплодировали и говорили: «Лючия шаушпиллер». Надо будет это слово запомнить. Какие они с новым шефом притихшие стали... И Карла нет: сопровождает своего начальника. Если бы Карл слышал, он бы что-нибудь вкусное вынес.

Я не знала имени того немца. Он всегда сидел в стороне один, на все грустно смотрел и ни разу не улыбнулся. Почему? Ведь когда я пела «Му!», смеялись все. «Му!» была самой последней песней, которую я запомнила перед войной. На пластинке ее пели Леонид Утесов с дочерью Эдит:

Что-то я тебя, корова, толком не пойму,
(корова отвечает «Му!»)
Все туманно, все так грустно сердцу и уму.
«Му!»
Наклонись же ближе к уху,
Утешай меня, Пеструха,
Очень трудно без участья сердцу моему.

Это я все пела низким голосом, как Утесов. А дальше вступает высоким голосом Эдит.

Коровье «му» и резкие смены мужского и женского голосов всех веселили. Этот немец не реагировал никогда.

И вдруг после моего танца из фильма и «чечеточки» в конце он направляется прямо ко мне, Я аж съежилась. А вдруг ударит? Кто его знает, чем он дышит? Он подошел, провел рукой по моей стриженой голове. Я еще больше вдавила голову в плечи... «Айн момент» — и пошел в здание.

Он вынес что-то завернутое в голубую красивую бумагу, явно не съестное. Тогда что? Я развернула... Ах! Два портрета Марики Рекк! На обратной стороне ноты ее песен.

— Мам, что такое шаушпиллер?
— Не знаю.
— Ты же учила немецкий.
— Этого слова я не знаю. Шпиллер... вообще — играть.
— На чем играть?
— Отстань... откуда я знаю,..
— А как ты думаешь, сколько лет Марике Рекк?

— Не знаю.

— Ну а как ты думаешь?

— Вечно ты со своими глупостями. Точно Марк... По-моему, она моя ровесница. Почему я о ней должна думать? На черта она мне нужна, эта немка?

Ага. Стоп. Маме сейчас двадцать пять лет. А мне в ноябре 1942 года будет семь лет.

— Мам, двадцать пять минус семь будет восемнадцать?

- Да.

Долго. Очень долго еще ждать...

В 1957 году вышел на экраны фильм «Карнавальная ночь». В нем я сыграла свою первую большую роль в кино. В фильме я пою и танцую. В этом же году у меня была первая поездка за границу. И надо же, чтобы так совпало — первая поездка, и в Германию... При слове «немец» у меня внутри навсегда засело чувство страха.

Я была в делегации московских комсомольцев по приглашению молодежи Большого Берлина. Жили мы в гостинице «Адлон», около Бранденбургских ворот. Нам сказали, что в ней останавливался Гитлер. Гитлер, немецкая отрывистая речь, как это далеко... И все равно я боялась, что все это будет действовать угнетающе.

Эти немцы были мне незнакомы, хотя и речь та же... Ведь эти все — в штатском. Нет, вроде не страшно, по-моему, я их не боюсь.

А когда я услышала рядом со своей фамилией слово «шаушпиллер», я чуть не вскрикнула. С нетерпением дождалась конца пресс-конференции. У переводчицы я спросила, стараясь быть спокойной: Простите, что такое «шаушпиллер»?

Она ответила: «Шаушпиллер» по-немецки — это ваша профессия, «актриса».

Аа?! Шаушпиллер — актриса...

# КЛАД

Осенью мама опять пошла на менку. Надо делать запасы к зиме. Она понесла мыло. Кто-то в Харькове варил мыло. Чего только про это мыло не говорили... И что его варят из кошек и собак, и такое, что неудобно и сказать! И что будто, когда стемнеет, ловили детей, и из них варили холодец и мыло. Правда или нет — никто не знает. Но детей на улицах вечером не было. Вечером я сидела обязательно дома.

Это мыло было совсем черного цвета и имело отвратительный запах. Во время мытья я видела страшные картины... Мне было жалко маленьких детей. Я сидела в корыте и с нетерпением ждала, когда же мама перестанет меня нещадно скрести.

Ремонтная часть эвакуировалась. На дворе сначала валялись деревянные ящики, потом их разнесли на топливо. Долго еще ржавели металлические моторы, гусеницы от танков.

Когда я училась в школе, у нас проводились кампании по сбору металлолома. В один из воскресников наш класс вышел по сбору металлолома на первое место по району.

Теперь в здании школы был немецкий госпиталь. Проход на территорию заколотили досками. Новые немцы ели внутри здания. Во дворе гуляли легкораненые. Те, у кого в гипсе рука, нога. Некоторых вывозили на воздух прямо в кроватях на колесиках.

У меня было много свободного времени и никаких занятий. Где только бог меня не носил целыми днями. Я знала все выходы и входы дворов, домов, развалин. Мои глаза постоянно были устремлены вниз. Каждый день я была уверена, что именно сегодня я найду кошелек или деньги, случайно выпавшие у кого-то из кармана. Меня преследовала мечта найти «клад».

Папа всю жизнь повторял маме, что у него счастливая «планида» (планета), что он „найдеть клад ув обязательном пырядке!» А мама, как всегда, ехидно хихикала.

Но однажды мы с мамой собственными глазами увидели, как папа действительно нашел клад! Прямо как в сказке!

Это случилось после войны, когда я училась в пятом классе. Мы жили в нашей последней харьковской квартире. Во дворе было много семей. Ближайшими соседями, с которыми мы тесно общались, были Соня, Роза, Галина Сергеевна, Шолом и Кляча. Это прозвище дядя Моисей получил от папы. Он носил перед собой, чтобы все видели, две руки, согнутые кистями внутрь. После войны «быть раненым» было почетно. Потому многие

гиперболизировали свои ранения или притворялись. Кляча не был на фронте.

— Моська! Другое придумай. Увесь фронт прошов, такога ранения нема, такога не видев! Ну, давай, давай, разогни руку. Смелей! Не бойсь. А то ты на самом деле ходишь, як кляча... — И папа добродушно смеялся, глядя, как Моисей, бубня под нос, быстро скрывался а свой полуподвал.

Я потом расскажу, как мы попали в эту квартиру. Она будет называться «улица Клочковская, 38, кв. 3.» «Двор» на Клочковской — как одна семья. Все слышно, все видно в обоих двухэтажных домиках, стоящих друг против друга. Известно все. Кто к кому приходит. Кто у кого остался ночевать и в три утра, крадучись, выбирался из двора. Наутро об этом говорили вслух. Окна у всех открыты! Весь двор завешен бельем, дорожками, которые выбивали вениками. Пыль столбом!

Главное место сборищ — общественный туалет во дворе, чуть в стороне от домов. Утром очередь, вечером очередь. «Ну, что там можно так долго делать, Кляча? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю!» — кричала на весь двор родная сестра Клячи тетя Соня. Она жила напротив нашей квартиры с мужем Шоломом и Клячей. Над ней, на втором этаже, жили самые «богатые» во дворе — Виноградские. Отец и мать с утра уходили на базар. У Виноградских было двое мальчиков — Генка, двенадцати лет, и Ленька — восьми. И вдруг Леньке купили часы! В то время восьмилетний ребенок с часами?! Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. Может, как сейчас иметь личный самолет... И то не было бы такого ажиотажа, какой был тогда в нашем дворе, когда восьмилетний Ленька вышел во двор с большими круглыми часами и сел на «Сонину» скамейку. Этого «бедная» Соня не могла простить «богатым» Виноградским. Братья постоянно изводили Соню: то сбрасывали со второго этажа ей под окна мусор, то швыряли огрызки и косточки. А один раз был такой скандал! Они вылили в ее палисадник все из ночного горшка! Бедная Соня! Она, задыхаясь, на весь двор кричала такое, что наш веселый двор хором заливался от смеха. «Вы! Свинья! Кусок г...но! Вы — кусок Гитлер!!! Ты!!! Где ты есть? Ленька! Выйди, я на тебя буду смотреть! А! Стыдно! Пойди, ну ты пойди, ты пойди уже одень часы!» — Главную обиду — насчет часов — Соня высказала.

Мы жили напротив Сони, в полуподвальной двухкомнатной квартире. У нас была своя кухня и коридор. Из коридора — налево — вход в первую жилую комнату. А направо — вход в маленькую темную комнатку — метр шириной и два длиной. Папа обнаружил, что в ней есть трубы. Это оказался слив. И скоро папа соорудил в этой темной комнатке... уборную! Вот так. У

него, единственного во дворе, есть свой «личный» туалет!

— Ну, што, Лялюша? Не будешь теперь ув очереди з Сонькую и з Розкую стоять? А!! А ты говоришь, Марк — идиот!.. Марк — настыящий хызяин, а за хорошим мужум и чулинда жена. Теперь мы, як буржуи, я теперь кум королю и Терешенки сват!

Но на «туалете» папа не остановился.

— Лель! Ты знаешь, коло труб земля з одной стороны податливая.., а з другой — хоть ломом бей. Там што-та есь. Буду копать дальший...

Папа открыл, что эти трубы ведут еще в одно помещение, похожее на подвал. Чем дальше, тем потолок все ниже и ниже — конусом. С другой стороны дома была еще лестница, ведущая на второй этаж. Так этот подвал «конусом» был как раз под лестницей. В него можно было попасть из «туалета» только согнувшись. Там было холодно и сыро. «Хорошо. Здесь погреб будить. Будем на зиму усе солить... Не, Лёль, тут хто-то побывав... Якая земля мякинькая. Ета неспроста... Буду ще копать».

Он копал каждый день. Мы боялись смотреть на него, чтобы не засмеяться под «горячую руку». Не знали, что отвечать людям, которые приходили к нему. Не скажешь ведь: «Марк Гаврилович вас принять не может. Он как раз сейчас ищет клад».

И вдруг мы с мамой услышали откуда-то издалека чужой хриплый голос, срывающийся на высокие «петухи». Мы испуганно смотрели друг на друга. Что случилось? Было такое ощущение, что папа попал в тридевятое царство и ему навстречу вышло чудовище.

— Я ж говорив! Я ж говорив! Ах ты ж... твою в душу, в триста богов... тыща твою матку вовков зъешь! Леля! Дочурка! Што я говорив? Зови усех, хай знають Марка Гавриловича!

Папа вылез взъерошенный, весь в грязи, сияющий! В руках бережно нес голубую кастрюльку, обмотанную проволокой. В ней лежал тряпичный сверток, пахло прелом. Ну? Папа развернул тряпку... Перед нами лежала пачка денег — керенки. Они рассыпались на наших глазах...

— Лёль, як же ета?

— Марк, ты подумай, сколько они в сырости пролежали... В общем, это понятно. Это купеческий район. Кто нибудь для лучших времен припрятал. Интересно...

А на дне кастрюльки лежал красный мешочек с серебряными монетами. Были даже с дыркой посередине. Но в то время они не имели никакой цены. Папа их раздал детям во дворе и «дочурке играть».

— Да-а, золота нима... Но будить... Ув обязательном порядке будить. Я ще найду. У меня щасливая планида!

Мама с тех пор уже не хихикала. «Знаете, Марк все-таки очень странный человек... Говорил, что найдет клад — это в наше-то время! И представляете себе — нашел! Что за человек...». То-то, мамочка!

Папины гены передались и мне. И я мечтала о кладе осенью 1942 года.

Но клада я не нашла. Я подружилась с мальчиком Валериком — Вилли. В оккупированном Харькове почему-то было модно «переиначивать» русские имена на немецкий манер.

Он окликнул меня около разрушенного дома на Рымарской. Мы оба были стрижены наголо, только у меня чубчик. Он был на два года старше меня, весь в веснушках, и имя «Вилли» ему подходило так, как если бы меня назвали «Гертрудой».

— Слушай, ты, как тебя?

— А что?

— Хочешь заработать?

— Ну?

— Нужно постоять на шухере.

— А что это?

— Держите меня! Не знает! Постоишь, а если кто идет, свистнешь... Ну?

— Я пою. Свистеть не умею.

— Учись...

Вот жизнь! Только что ведь ничегошеньки не было. И вдруг такое дело! Интересно!

— А куда идти?

— На базуху.

— А что это?

— Ха! Базар!

— А-а! Только не вечером.

— Даешь дрефака? Нет. Утром. Да с нами не бойсь.

— А еще кто?

— Завтра... Мой братан главный. Его «Мордой» звать. А вообще он Толик...

# БАЗАР

Из деревни на базар привезли дыни — желтые, пахнущие так, что одуреешь. Мне нужно было взять на себя внимание двух теток. А за спиной у них потихоньку будут уплывать дыни. Народу много. Тут свистеть надо не переставая. Почему именно у этих теток? Дыни ведь есть не только у них.

Позже я узнала все тонкости. Ребята изучили базар как свои пять пальцев. Они знали всех. И их знали все. Торговки их замечали издали и были на стрёме. А эти тетки из деревни, «перваки». Вот таких и подлавливали.

Было так жарко, что от голода и жары в животе все слиплось, а голова шла кругом. Тетки в белых платках, разморенные и раскрасневшиеся, отсели в тень и стали есть... черный хлеб с салом!

С чего начать? Что делать? Главный — Морда — делает знаки: придумай, разверни их в другую сторону. Какие дыни, когда здесь хлеб с салом! Петь не петь... говорить? А что говорить? Смотрю на тетенек проникновенно и жалостливо... Кончилось тем, что я их развернула, как хотела. Я им рассказывала, что я круглая сирота... Папа на фронте, жив ли он — неизвестно. Мама недавно умерла с голоду. И сама я в это абсолютно верила... И видела все перед глазами. Слезы лились у меня по лицу. Сказала, что вот уже два дня ничего не ела... «О-ой, такэ малэ, текэ худэ дытя... Бисова вийна... воно вжэ сырота». Отрезали мне кусок хлеба, кусок сала. Я их вежливо поблагодарила и быстро пошла, на ходу давясь, чтобы новые друзья не отобрали.

Штабом были развалины бывшего крытого рынка. Здесь собрались все: Морда, Вилли, Сенчак (Сеня) — других не запомнила — и я. Меня поздравили с «боевым крещением», сказали, что я молодец. У нас было девять дынь. По одной на брата и три на продажу! Сало, дыня, нестерпимая жара... Мне было так плохо, что запах дыни стал непереносимым на всю жизнь.

Недавно, в мае 1979 года, наша картина «Сибириада» была на Каннском фестивале. Когда я вошла к себе в номер «Карлтон-отеля», на моем столе стояла изящная белая корзина с фруктами. Очень красивая и разноцветная. В середине бежевый ананас. А вокруг и розовобокие персики, и бледно-желтые яблоки, и фиолетовые сливы, черешни, прозрачные до косточек, и огромная клубника на золотом бумажном блюдечке. И еще два зеленых мячика — как теннисные, только поплоще и побольше. Я все

перепробовала, а эти мячики мне незнакомы. Пробовать их не решилась. На званом обеде — смотрю — в самом начале подают эти зеленые мячики. Подмывает спросить, что это за мячики, но жду... Сосед слева - директор Каннского фестиваля. Он хорошо знает оперу. Раньше он был крупным оперным импрессарио. Несколько раз приглашал в Париж нашу оперную труппу Большого театра. Он нам гордо об этом сообщил. За столом, до обеда, мы с ним вдвоем с успехом исполнили арию Ленского "Я люблю вас, Ольга». Так что, когда подали зеленые мячики, у меня с этим холеным и ухоженным старичком, можно сказать, завязались приятельские отношения. Смотрю, он надрезает верхушку этого мячика и ложкой начинает вычерпывать его изнутри. Ой! Так это же дыня! Самая обыкновенная дыня-карлица.

Он с таким удовольствием ел свой мячик, с таким аппетитом, что у меня даже был порыв подкинуть ему еще и свой. Но я взяла себя в руки. Ведь мы, к сожалению, не дома.

«Мадам Гурченко! Почему вы не едите дыню? Это же «манифик»! Такой дорогой деликатес!».

А зимой мы стащили целый бак самодельного мороженого. Его продавала тетка Поля, толстая, с красным лицом. От мороза оно иногда было даже синим. Она громко орала, была грубой и отвратительной.

От места, где стояла с мороженым Поля, уже издали шел запах ванилина. Она проворно вкладывала в железную формочку круглую вафельку на дно. Потом ложкой накладывала мороженое и сверху накрывала опять кругленькой вафелькой. Снизу этой формочки — железная трубочка, внутри которой «ходил» железный карандашик. Он-то и выталкивал кругленькое, обложенное вафлями ароматное мороженое.

Деньги она прятала в сумку, которая висела у нее прямо на груди. Сколько денег! Так хотелось купить мороженого... и леденцов. А петушок на палочке малинового цвета! Леденцы, маленькие-маленькие — по рублю штука. А на немецкую марку — десять штук.

Поля была тетка тертая, знающая все хитрости. Ее не проведешь. Целый день она продавала мороженое, брала деньги, отсчитывала сдачу... И все стоя на одной ноге. Вторая нога беспрерывно шарила по земле и нащупывала запасной бак с мороженым. «Вот здоровая баба! — цедил сквозь зубы Толик-Морда. — И ноги не мерзнут. Ну, не шелохнется, зараза!» Мы целый день так внимательно смотрели на ее ноги, что ночью как закроешь глаза, так и видишь сразу Полины ноги, обутые в бурки и в чуни. Бурки — это самодельные ватные валенки,

простроченные по типу ватника, а «чуни» — галоши, сделанные из автомобильных шин, только глубокие, до щиколоток. Передышка у Поли бывала только тогда, когда приходил ее муж с очередным запасным баком. Он был такой же отвратительный, только очень маленький и худой, со злыми глазами-щелками.

И все-таки мы подловили момент! Был мороз. Но вокруг мороженого толпа, как летом. Очередей на базаре не было. Были толпы.

Все орут, толкаются, теснят друг друга. Мы с Вилли орем громче всех: «Куда ты прешься? Стой, как все! А чем ты лучше? Тоже мне «пан»! Да заткнись ты! Что? Что ты сказал? А ну, повтори...»

— Э-э-э!!! Смотрите, смотрите! Пацаны мороженое сперли! Вон бегут! Хватайте их!!!

Поздно. Мы опять сидели в нашем штабе. Ели прямо руками из бака долгожданное Полино мороженое. Вначале было необыкновенно вкусно. Потом приторно. Потом очень плохо — всем шестерым. Мороженое было на сахарине. Чего только, наверное, Поля в него не пихала... Съешь порцию — не почувствуешь. Но шестерым съесть целый бак на морозе, на голодный желудок...

После войны я мороженое уже больше никогда не ела. Подержу, посмотрю, нюхаю — и все.

А вот петушки люблю! Как увижу в городе малиновые петушки на палочке, - покупаю. Говорю, что покупаю дочке, а сама только за угол — и тут же откусываю его не спеша, чтобы растянуть удовольствие. И в голову не приходит, что можно купить сразу десять штук. Нет, берешь одного! Как несбыточную мечту, которая вдруг сбылась.

А знакомство с ребятами было и опасным, и романтичным. Многому меня научило. И хорошему, и плохому. Я знала, что «ракло» лучше, чем «сявка». «Сявка» — это опустившийся, безвольный человек, ничто. А «ракло» — это вор действующий, соображающий. Я научилась воровать. Для этого пользовалась все тем же способом «отвлечения». Рассматриваю себе на прилавке штучный товар. Прямо перед носом у торговки... Перегнувшись через стол, перебираю правой рукой товар, стоя на цыпочках. Товар ругаю или хвалю, а левой рукой, — незаметно, — первое попавшееся тихо опускаю вниз под прилавок. Смотришь, яблоко или помидор есть.

На базаре дорого стоили камни для зажигалок. За один камешек можно было купить гору леденцов. Подойду к прилавку, послюнявлю указательный палец и как бы случайно уроню его на разложенные камешки... «Нет, моему папе эти слишком большие».

— И отхожу. А на палец два-три камешка и прилипло.

Осенью мама возвратилась после менки. За «то» мыло она привезла мешок фасоли. «Сейчас куплю луку... сварю фасолевый суп... соль у нас еще есть», — сама себе приговаривала мама, перебирая у торговок лук.

— Мам! Пойдем со мной...

Мы отошли... Мама смотрела на меня с тревогой: мол, что случилось, с чего это «пойдем»? Я ей протянула большую головку синего луку.

— Боже мой, какой ужас! Где ты его взяла?

— А ты его дольше всех в руках держала... А пока ты с теткой говорила...

Мама — хрясь по щеке. Я даже не успела договорить... Она быстро пошла впереди.

— Какой ужас! Если бы Марк это узнал! Он же никогда и крошки чужой не возьмет. 0ткуда это у тебя?

0ткуда, откуда... Сама уйдет на свою менку — и жди ее. Что оставит, съедается быстро, а потом что? Да что я, одна? Все дети так. Все! Ничего больше не буду ей ценного показывать. Я думала, она обрадуется... Вот человек! А папочка такой добрый, он бы меня пожалел, поплакал бы вместе со мной...

Дома мама отошла. Она мирным, нудным тоном вычитывала мне, какой должна быть девочка, как некрасиво я поступила, в общем, — ничего нового. А потом взяла с меня слово, чтобы «это» было в первый и последний раз. Я дала честное слово.

Но это было только начало. Я воровала до двенадцати лет. В школе — ручки, перья, тетрадки. В гостях — сахар, конфеты, печенье. Все копила на «черный день». В укромном месте я прятала свои запасы. Старые съедала, а новыми пополняла. А потом в одно прекрасное утро все кончилось. Желание воровать исчезло навсегда. Даже как-то скучно стало...

Я всегда долго «созреваю». А потом вдруг — раз! И полная ясность. Точное решение проблемы.

Так и в работе над ролью. Сначала тупик и полная паника. Внутри сам собой происходит процесс «созревания». Я думаю в это время совсем о другом, вдруг неожиданный просвет. Ага! Есть! Знаю, какая «она»! Знаю, как я ее поведу...

Так и в дружбе. Со мной много можно «экспериментировать» — подводить, обманывать, крутить, вертеть. Я все терплю, терплю, жду, надеюсь... А потом — раз! И все! Внутри все пусто, все сгорело. И нет больше такой подруги.

А особенно болезненно было в любви. Уж тут-то я почти всегда оставалась сидеть в пепле на развалинах. Всегда сильно мучилась, отдавая этому чувству невосполнимые силы.

Максимально «приносила», но и максимально требовала. Выдержать меня, мой этот «максимализм», — трудно, что там говорить… Мне хотелось всегда любить только одного человека.

Теперь жалко огромного заряда энергии, растраченного впустую. Но мой папа говорил — «жисть есь жисть, моя детка». Все правильно. Я это постигала на своем опыте, не внимая ничьим советам, какими бы они мудрыми ни были.

# БЕЗ «ДЕЛА»

На базар меня мама больше не пускала. А внизу, как назло, свистели мне мои друзья. Я предлагала маме все услуги, вела себя так образцово, что это требовало какой-нибудь награды. Но мама хитрая. Она делала вид, что ничего не замечает.

А уж если выдавалось вырваться!!! Ух! Я летела на базар, в условных местах находила ребят... и — будь что будет! Не убьет ведь, правда? — и гуляла до вечера. Мы купались в Лопани, строили планы — на кого бы «навострить лыжи»?

А дома — экзекуция. Но что меня особенно поражало! — мама безошибочно узнавала, что мы купались в Лопани. Курточка сухая, шаровары сухие, голова и трусы, а она знает, что я купалась в Лопани.

— Я тебе запретила влезать в эту грязную воду.

— Мамочка, дорогая, честное слово! Я не купалась, — говорила я, глядя на нее открытыми и честными глазами.

— А это — за вранье! — следовал очередной удар. А потом долгое стояние на коленях в углу. Лицом к стене. Там у меня было время спокойно все обдумать, поразмышлять. «Вот приедет папа, я ему все расскажу. Как он точно про нее говорил—ага! Ну как она пронюхала, что я купалась? Ну точно...чистая НКВД".

А тут и нюхать было нечего, от меня за ворсту несло болотом. И опять надо было меня мыть. И опять — вода, керосин, мыло...

Мама выпускала меня гулять на короткие промежутки. Я стала ходить вокруг госпиталя. Интересно: что едят раненые? Наверное, их хорошо кормят. Дома с утра до вечера была одна фасоль. Так хотелось хлеба!

Проход на «территорию» был закрыт еще и досками. Я одну доску отломла, пролезла в дырку головой. Меня никто не остановил. Раненые удивленно смотрели на меня: как это я сюда проникла? А может, так и надо? Я немного прошла и остановилась. На кроватях с колесиками лежали двое сильно раненых - забинтованы и голова, и грудь. «Киндер, шпрехен зи дойч?». Я показала на конец мизинца. Один тихо засмеялся...

«Во ист фатер?» — Где мой отец? Так. Если мой отец на фронте, значит, он их и ранил... Отвечаю: «Них ферштейн». Молчим... И я сразу выпаливаю: «Пан... их виль есен... их виль брод... пан, май мутор кранк...». И спохватилась: про отца не поняла, выходит, а мать — «кранк». Опять один засмеялся...

В спине, пониже лопатки, справа, я почувствовала острую боль. Аж задохнулась. Кто-то швырнул в меня камешек. Повернулась. На меня, шагах в двадцати, смотрел рыжий немец

на костылях, без ноги: «Век раус, век раус, шайзе менш... Фарфлюкте...». Я побежала к своей лазейке. Опять надо выбираться вперед головой! Я наполовину пролезла, беспомощно болтала в воздухе ногами, А он все еще громко орал, как не нормальный, и выкрикивая новые и новые ругательства. «Заткнись ты! Рыжая кандала, тебя кошка родила!».

Все провалилось. Госпиталь больше меня не интересовал. При воспоминании о нем на душе было неприятно и подавленно.

На базар мне нельзя. Госпиталь провалился. Дела никакого нет. И даже тетя Валя подвела. «Продала» меня маме. Я ей призналась, что, несмотря на честное слово, ворую. Она смеялась, говорила: «Молодец, доця!» А потом взяла и все рассказала маме. Никому нельзя верить. Ничего нельзя рассказывать. Даже тете Вале. Как она потом к «доце» ни подлизывалась, с ней я уже была начеку.

# НАШИ ПРИШЛИ

— Люся, ну сьешь хоть пару ложек. Возьми себя в руки и съешь... Ну ты же умрешь.. Я тебя прошу. И тетя Валя тебя просит. Ради нас, ну, дочечка!

Как ни старалась мама, но кроме фасоли на зиму больше ничего не запасла. Соль давно кончилась. Фасоль я не могла проглотить. Хотела, а она выходила обратно. Я лежала целыми днями без движения. Мама металась в поисках еды. Теперь она была бы счастлива, если бы я по-прежнему ходила на базар и подкармливалась самостоятельно, но... ходить я уже не могла.

Время зимы 1942/43 года — единственный черный провал в моей памяти за всю войну. Все помню урывками: темно-темно, а потом просвет, а потом опять темно! Когда бомба разрывалась недалеко, мама говорила: «Господи, вот бы р-раз — и все! Ну, нет сил! Ну, нет же сил! Больше не могу...». Я лежала. Мне было безразлично. «Мама, наверное, права. А как же папа?.. Нет, пусть лучше бомба не попадет...».

Тетя Валя смотрела из наших замерзших окон на двор госпиталя. «Леля! Посмотри, сколько раненых возят... Все новые и новые машины. Наверное, фронт совсем уже близко...»

По рассказам я знаю, что в Харькове это было страшное время. Беспрестанно бомбежка и перестрелка. Горели немецкие продовольственные склады. А люди сидели дома — так было страшно. Рисковали только самые отчаянные...

Мама сказала, что меня на ноги удалось поставить тушеным мясом — тем самым, о котором мы мечтали. Она все-таки оказалась среди тех, кто рисковал. Но вкуса мяса я не помню.

Я встала на ноги, когда на улицах города было тихо. Ни одного выстрела. Тишина. Эти часы затишья называли временем безвластия. Когда одни войска уже ушли, а другие еще не пришли. Я подошла к балкону. Госпиталя уже не было. На дворе валялись гипсы, бинты, сломанные кровати на колесиках.

Ночью над городом стояло красное зловещее зарево. Оно уходило высоко в небо. Внизу красное, потом черное, а в небе серое. А в городе тихо-тихо. Страшно.

15 февраля 1943 года. Красная Армия первый раз освободила город Харьков. Когда уже всюду раздавалось радостное — «наши!», мама меня тихо вывела по ступенькам с четвертого этажа на Мордвиновский. Целую зиму я не была на улице. Столько людей — все плачут, обнимаются. Мы спустились на Клочковскую. Тут входили войска... Какие они — «наши»? Может, кто-нибудь знает папу? А может, от него есть письмо? А вдруг мы

его сейчас встретим?

Папа и мама перед войной часто проводили вечера в Доме офицеров. Я запомнила военных высокими, плечистыми и красивыми. Они с юмором, охотно исполняли все мамины аттракционы, шарады, игры, песни. У нас дома сохранились фотографии, где папа играет, а военные хором поют и с удовольствием смотрят на маму. Ее приглашали танцевать. Это я очень хорошо запомнила. Папа бывал возмущен:

— Як ето так? Прямо при муже идёть з другим и танцуить? И ще влыбается.

— Ну а что, Марк? Что у меня на лбу написано, что я твоя жена? Это же моя профессия.

— Якая такая профессия? Я тебе ету профессию сам у руки дав. На ноги тебя поставив. На широкую дорогу жизни тебя вывив... Да ты, як порядочная жена, должна сказать, что так, мол, и так, мол, товарищ дорогой. Я на работе, пригласите другую. Во так вот должна отвечать порядочная жена, а ты...

— Ой, Марк, котик ты смешной. Один мне свидание даже назначил...

Но продолжить маме уже не пришлось... После этого случая она всегда помнила, что «правду нельзя говорить...». За правду она уже свое получила.

По Клочковской проехало несколько мотоциклов с коляской. В них солдаты в белых маскхалатах, с автоматами наготове. Потом тишина. Потом опять такая же группа мотоциклов. И только вслед за ними в город вступила армия.

# ВТОРЫЕ НЕМЦЫ

«Это было при «первых немцах», а это было при «вторых немцах» — выражения знакомы всем тем, кто пережил войну в Харькове.

«Первые немцы» навсегда ушли. Пришли наши. Но бои за город продолжались, немцы стояли на окраине Харькова, в районе Холодной Горы. Нашим город пробыл около двух недель. В течение этих двух недель во дворе у нас был красноармейский госпиталь. Беспрерывно возили тяжелораненых. Женщины-медсестры развешивали рядами бинты. А наутро, от мороза и ветра, бинты торчали колом во все стороны.

Мне все время казалось, что война, немцы — это только сегодня. А вот завтра будет прекрасное утро. Я проснусь — и будет 1 Мая. Веселый папа с баяном. И мама вся в белом, будет смотреть счастливыми и странными глазами на папу. Но наши отступили. Пришли «вторые немцы». У тети Валиных окон мы опять заняли свой наблюдательный пункт. Опять на Клочковской та жа картина. Только входили немцы уже из центра, от площади Тевелева.

...По нашему переулку, под нами, несколько красноармейцев в зелено-желтых плащ-палатках перебегали от двора к двору. Они направлялись к Рымарской. А с Клочковской короткими автоматными очередями стреляли «вторые немцы». Их еще было видно из нашего окна. Вокруг из окон выглядывали люди. Все следили... Откуда-то раздалось: «Налево! За угол налево!».

Красноармейцы скрылись налево за углом, по направлению к Опере... Мама сказала: «Хоть бы успели до сада Шевченко, там все-таки деревья». А тетя Валя сказала:«А что деревья? Ведь сейчас зима».

А я подумала: «Почему на них не белые халаты, а пятнистые?».

«Лёля! Лёля! Скорей! СОвсем, а-а! СОвсем другие вОйська... и форма».

«Вторые немцы» шли, тесно прижавшись друг к другу, шеренгой от тротуара до тротуара. Они разряжали автоматы в малейший звук, в движение, в окна, в двери, вверх, в стороны...

Это были отборные войска СС. Звук кованых сапог, отрывисто лающая речь, черная форма и особенно отчеканенное «хайль» — ничего похожего не было у «первых немцев».

Звук кованых сапог раздавался кругом. На следующий день он раздался и на нашей каменной лестнице. Сначала внизу, потом на третьем этаже. Мы все собрались на кухне и ждали...

Немцы вошли четко. Двое остались у наружных дверей. Двое пошли по комнатам, потом на кухню. Оба очень молодые, совершенно одинаковые, с мертвыми, бесцветными глазами. Я стояла перед мамой, упиралась затылком в ее худой провалившийся живот. Они с ног до головы обшарили взглядом всех взрослых. Я смотрела на них со страхом, но и с огромным интересом. Что это за люди? Вроде люди... и не люди.

Эти двое между собой громко переговорили, потом что-то крикнули тем, которые стояли у входа. Услышали такой же громкий и четкий ответ, одновременно повернулись «кругом» и так же четко, чеканя шаг, вышли из нашей квартиры, оставив дверь настежь.

Их действия, поведение произвело впечатление отрепетированного спектакля. Дочь и мать Мартыненко, тетя Валя, мама и я не двинулись с места, пока не услышали их шаги этажом ниже.

Все бросились по комнатам. А я осталась на кухне. Мне нужно было отдышаться. Хотелось побыть одной, сообразить — что это? И страшно, и одновременно мучило любопытство: «Смогу ли я так же четко пройтись и без остановки развернуться «кругом», а потом так же четко пойти в другую сторону? А? Смогу? Ладно, потом попробую, не сейчас».

Пошла посмотреть, что они у нас в комнате наделали. И вдруг перед самой нашей дверью резко развернулась «кругом», да еще пристукнула ногой об ногу! От выскочившей из нашей комнаты мамы получила такую затрещину, такого «тэвхаля», как говорил мой папа, что в глазах темно стало. Тут я и успокоилась. И на маму не обиделась. Мама права. Но ведь я и сама этого не хотела! Так получилось.

Когда папочка вернулся с войны, я его «изводила», заставляя все время командовать мне: «на-пра-ава», «на-ле-ева», «шагом арш», «кру-у-гом»... Я со счастливой улыбкой исполняла команды. Мне так хотелось быть мальчиком...

Все подушки, перины были вспороты штыками. Всюду открыты ящики и дверцы. Кругом перья. Так же было и у тети Вали, и у Мартыненок.

— Валя! Это же чистейший идиотизм! Искать в перине партизан. При чем подушки?

— Доця! Аккуратно собирай все перья, чтоб ни Одно не прОпало.

Немцы увели из нашего дома двух последних пожилых мужчин. Они действительно повсюду искали партизан или раненых красноармейцев, не успевших скрыться.

# ДЯДЯ ВАСЯ

«Вторые немцы» объявили комендантский час. Кто появлялся на улице после шести часов вечера — расстрел на месте. За время оккупации было столько приказов, столько распоряжений и угроз, что бдительность у людей ослабела. Но когда после приказа о комендантском часе на следующее же утро на улице были убитые, стало ясно, что «вторые немцы» приказы приводят в исполнение. И после шести вечера город был мертвым. Только редкие выстрелы. Только звук железных подков.

Зато утром, чуть свет, начиналась жизнь. Но какая! Она бурлила, била ключом. Люди как будто наверстывали за вечер. Все выныривали из своих домов и бежали на базар! Там все. Еда, одежда, деньги, надежда — жизнь!

Мы с мамой тоже спешили на базар. Теперь мама торговала табаком. Нас выручил папин товарищ — баянист дядя Вася. Я его до войны не видела у нас в доме. Наверное, он был не «кровенный», а просто товарищ.

— Всех поили, кормили... Куда все делись? Исчезли. А дядя Вася помог. Кто мог подумать? Встретила его на базаре. Голос мой не узнал, Валь, по руке узнал, сразу улыбнулся: «Здравствуй, Лёлечка». Как это у слепых устроено... узнал по руке...

— Лёля! Как это по руке? Он что — гадает? Ты меня с ним познакомь...

— Да нет, Валя, он баянист, слепой.

Дядя Вася был огромный, мощный человек. Ходил в маленьких черных очках, с палкой. Рядом с ним все было маленьким — и баян, и его жена. Она его постоянно сопровождала и тихо шелестела своим добрым голосом: «Вася, тут ступенька, не спеши, не спеши. Мы успеем...» Дядя Вася был слепым от природы. Со стороны было забавно — огромный человечище с маленьким баяном и маленькой женщиной.

Он тогда нас с мамой спас. Его жена торговала на базаре табаком. А дядя Вася играл на баяне в маленькой пивной. Они одолжили маме денег на табак. Табак мама купила оптом — полмешка. А продавали мы с ней его в розницу — на стаканы. Стаканы выбирались самые маленькие.

А табак мама смачивала водой, чтобы он разбухал. Один раз нам подсунули вместо табака полмешка мякины. Мама плакала, мы не знали, что предпринять, кому жаловаться. Ей дали «дельный» совет: если в горле дерет, значит, это табак, если нет — значит, нет. Мама научилась курить.

С утра я честно стояла рядом с мамой, старательно

исполняла все мамины «дела», а потом молча смотрела на нее с мольбой в глазах. «Ладно, иди, только недолго...»

У меня было много дел. Сначала я шла по молочному ряду, старалась «напробоваться» сметаны, молока... Для виду со мной всегда пустая банка или кружка. Иначе не дадут попробовать. А так: не нравится — вот и не беру. Потом по «штучным» рядам. А потом, на закуску, — в пивную к дяде Васе. Он был такой добрый, как папа, придешь к нему — всегда что-нибудь сунет: или петушка, или кусочек белого сахара. У них не было своих детей. Дядя Вася меня очень любил.

Пивная была очень маленькая, всего на три столика. Содержал ее пожилой цыган, Коля. Его жена и трое детей пели около пивной и зазывали прохожих посетить "кафе». Это слово было в моде. Кафе считалось «шиком». На всех пивных и кафе висели разноцветные самодеятельные вывески. Дяди Васина пивная называлась «Споем, цыгане». Пивная пользовалась успехом. Народу всегда было много, даже стояли. Звучали песни «Мой костер в тумане светит», пользовалась успехом «Люба-Любушка»:

Нет на свете краше нашей Любы,
Черны косы обвивают стан,
Как кораллы, розовые губы,
А в глазах у Любушки туман...

Я иногда пристраивалась к ним и подпевала с огромным удовольствием и отдачей.

Неподалеку сидел старичок. Он продавал порошки, низким красивым голосом все время повторял одно и то же: «Не забудьте — от-ы клопов-ы, блох-ы, крыс-ы, мышей, от-ы клопов-ы, блох-ы, крыс-ы, мышей...» — как будто читал по радио «известия» . Когда я его передразнивала, он не сердился, а смеялся громче всех: «Действительно смешно, детка, ах, господи, до чего же я дожил. А знаешь, детка, когда вы все поете, я твой голос сразу узнаю. Без тебя уже нет той гармонии. Не так звучит» .

Как он красиво говорит: гармония! Вроде бы простое слово — от слова гармонь. Ясно. Но как звучит — гармония! Я знаю, о какой песне он говорил. Я в ней нашла красивые подголоски. И сама влюблена была в мелодию цыганской песни:

Эх, бирюзовые, золоты колечики,
Ой да раскатились тихо по лужку.
Ты ушла, и твои плечики

Скрылися в ночную тьму.

Ай да по зеленой травушке-муравушке,
Ой да не собрать растерянных колец,
Не сыскать любви-забавушки,
Видно, счастью тут конец...

Дядя Вася так красиво играл! С переборами, с вариациями. «Хорош гармонист, хоть и слепой», — говорили посетители. Мой папочка так играть не умел. А дядя играл «як зверь». Это точно.

У моих друзей — Толика, Валерика, Сени — появилась другая девочка. Всю зиму я болела, мама меня на базар не пускала — вот и занято мое место. Но это была родная сестра Толика. Она подросла. С ней я не познакомилась. Я гордо проходила мимо, а душу грызла ревность. Девочку я рассматривала издали. Ничего особенного. Две толстые косички. Вместо лент веревочки.

«Тоже мне! Мне бы такие косы. Да я бы их накрутила колечками, как у Марики Рекк, в крайнем случае, раздобыла бы два малиновых банта!» На базаре продавали ленты из парашютного шелка. Все ядовитого цвета: голубого — «вырви глаз», бежевого с желтым отливом, «алая роза». Но мне больше всего нравились малиновые ленты. Такой необыкновенький цвет... Мне с ребятами было куда веселее. Но она сестра, а я чужая. Эх, если бы у меня был старший брат! Но все-таки легче от того, что сестра, а не посторонняя девочка. Что ж, прощайте, — Морда, Вилли, Сеня. На базаре мне уже вся знакомо... Я и в одиночку не пропаду.

В 1964 году я работала в театре «Современник». Тогда театр находился в самом центре площади Маяковского. После репетиции сказали на проходной, что меня уже два часа дожидается какой-то человек. Навстречу мне шел большой мужчина с черной бородой. Я его раньше никогда не видела.

— Здравствуйте, Людмила!

— Зд-дравствуйте...

— Наверное, вы меня... не узнаете.

— Нет, извините, нет.

— Как бы это... неудобно сказать... Да мы с вами когда-то воровали.

Я прямо шарахнулась от него. «Современник», лучший театр в Москве. Артистов немного. Все «личности». Атмосфера самая интеллигентная и интеллектуальная. На каждом углу читаются редкие стихи. Речь перемежается такими новыми, модным тогда

словами: «экзистенциализм», «коммуникабельность»... Я репетирую Ростана «Сирано де Бержерак», борюсь со своим «харьковским диалектом», успешно, вот уже полгода, выращиваю в себе «голубую» кровь, и на тебе! Какой-то ненормальный. «Мы с вами, — говорит, — когда-то воровали». Такое ляпнуть!

Ну всегда, всегда со мной не так, как с людьми.

- Вы что, товарищ? Что вы говорите? Вы меня с кем-то путаете. — И быстро ухожу. Он меня догоняет. Весь красный, ему тоже очень неловко. Ну, хоть не нахал.

— Людмила... ну, это... вот ч-ерт... в Харькове. Война, базар, мороженое, всякое то-се... Ну? — И шепотом добавил: — Ну, Толик я, — и еще тише: — «Мордой» звали.

— То-олик! Ой, ну, конечно, конечно! Прекрасно все помню! Еще бы! Вас не узнать, вы такой большой...

— А я вас в кино сразу узнал, хотя вы тоже изменились. Всем говорю, что вас знаю, — ну никто не верит. Не скажешь же, что воровали в детстве... черт.

Ему было трудно это говорить, он все время качался с ноги на ногу.

— Я как вас в кино увидел, сразу понял — Людмила из Харькова... чего уж, особенно, когда улыбаетесь... Все хотел вас повидать, но не решался. А сегодня думаю, а! чем черт не шутит? Принял для храбрости, и вот...

Мы зашли в ресторан «Пекин». Толик стал горным инженером. В Москве проездом с Севера.

Вспоминали далекое и такое родное прошлое. Уже громко, не оглядываясь по сторонам, называли все своими словами. Нас связывали особые узы братства, которые я чувствую ко всем, кто перенес войну в Харькове.

Мы с удовольствием говорили на «военном» харьковском жаргоне. И ни один рядом не смог бы нас понять.

# ОБЛАВА

Из тети Валиных окон мы смотрели вниз, на наш переулок. Было шесть часов, а мамы с базара не было. Мы знали, что это значит.

Недавно убили дядю Васю. К вечеру за ним всегда приходила его жена. Они шли домой через весь город, от Благовещенского базара, через центр, до Юмовской. В тот день она опоздала. Пивную закрыли, и дядя Вася пошел домой один. Его настиг проклятый комендантский час. Я представляла дядю Васю: большой, в черных очках, с баяном и палкой в руке, расспрашивающий дорогу, растерявшийся и беспомощный... а вокруг шныряют равнодушные и пронырливые...

- Единственный бескорыстный человек... так всегда с хорошими людьми, — сокрушалась мама. Мы с мамой вместе с женой дяди Васи искали его, у всех расспрашивали. Но где его найдешь, к кому обращаться... Это ведь комендантский час. Какое-то время мы не видели на базаре жены дяди Васи. А когда пошли ее навестить, в их комнате уже жила другая семья. На диване, где спал дядя Вася, сидели две девочки. Нам сказали, что жена дяди Васи умерла. Вот какое горе...

А теперь было шесть часов и не было мамы.

С утра мы вместе продавали табак. Потом я, как всегда, пошла по своим делам. Везде всё было по-старому, и лишь в пивной уже не было дяди Васи. На его месте стоял другой музыкант, только играл он не на баяне, а на скрипке. Подметки к ботинкам у него были привязаны веревкой. Очень худой, заросший, жалкий, говорили про него, что до войны он в Харькове «гремел», а теперь он сильно пьет самогон и к вечеру совсем не может играть. Фамилии его не запомнила. К нему обращались: «Род-д-дной, ударь по душе!» Скрипку я близко видела и слышала тогда впервые. Но играл он! Точно, бил по душе, пронзительно... и становилось одиноко и страшно.

Мне всегда больно слышать соло скрипки. Я люблю хор скрипок в оркестре, они уносят душу высоко-высоко, хочется плакать и любить. А когда играет солист, то какой бы он ни был — талантливый и импозантный, в сюртуке и в крахмальном жабо — чем внимательнее я вслушиваюсь в его игру, тем яснее вижу ботинки, перевязанные веревкой, тем дальше уходят звуки этого нынешнего музыканта — их заглушают кричащие, выворачивающие душу импровизации талантливого пьяницы-скрипача.

После войны я посмотрела фильм «Петербургская ночь». В

нем через всю картину идет спор, состязание двух музыкантов — талантливого и способного. Добронравов играл талантливого скрипача. Я была поражена необыкновенным сходством с тем скрипачом из пивной. Такая же отрешенность от мира, как будто на свете есть только музыка и больше ничего... Я смотрела фильм не один раз. Меня преследовала необычная музыка Кабалевского, особенно тема «Погорельцы». А когда в 1965 году я снималась в фильме «Рабочий поселок» с Леной Добронравовой, как же я влюбленно на нее смотрела и думала: «Дорогая Лена! Ты даже не предполагаешь, что ты для меня. Ты — дочь актера Добронравова. А он — щемящая музыка Кабалевского, которая заставляет вспоминать скрипача из пивной цыгана Коли, где рыдают пьяные посетители и просят «род-д-ного» «ударить по душе»... А вокруг война, бой за жизнь, за хлеб и мое взрослое детство»...

Сначала я невзлюбила того скрипача — за дядю Васю. Да ведь он ни при чем.Он даже не знал дядю Васю, нашего спасителя. Это хозяин пивной — он тут же нашел замену дяде Васе. Хоть бы выждал немного...

Папа мне на всю жизнь передал эту свою жалость к людям. По-папиному, любовь — это жалость. У нас дома спрашивали: «ты меня жалеешь?» Значит, «ты меня любишь?» Никогда в доме у нас не было этого проклятого равнодушия. Папа перед людьми был распахнут, открыт. Он говорил, что обижать его грех...

— Когда ты ушла с базара? — спросила тетя Валя.

— Давно, мамы на месте не было. Вот я и прибежала домой, чтобы быть пораньше...

— Ну что же могло случиться с Лелей? Облавы не было? Ты не слышала?

— Нет, не было. Точно.

«Вторые немцы» придумывали все новые и новые жестокие расправы, мало мальски подозрительных вешали прямо на балконах! Лютовали полицаи. Особенно те, что вернулись в город со «вторыми немцами». И немцы любовались, когда полицаи («свои») расстреливали своих же. Теперь начались облавы. Они устраивались в самых людных местах. В основном на базаре.

После нескольких облав люди раскусили, с чего они начинаются, стали следить за перемещениями и действиями немцев.

Определенный участок людного места немцы тихонько окружали кольцом, потом, по команде, вдруг начинали сужать кольцо, оттирая людей от прилавков, швыряя «товар» на землю. Прикладами в спину все ближе и ближе сталкивали людей друг к другу. Боже мой, какая же это была паника! Душераздирающие, протяжные крики — «Мамочки!», «Го-осподи!», «Помоги-ите!»,

«Ряту-уйте!» — перемежались с отрывистыми немецкими: «Шнель», «Век», «Шайзе», «Фарфлюктер!»

А когда кольцо было сжато так, что люди стояли вплотную друг к другу, немцы разрывали это кольцо с с одной стороны... А с противоположной от этого кольца выпускали овчарок. Все крики сливались в одно жуткое: «о-о-о!»

И наступала на мгновение тишина. Как будто все одновременно переводили дыхание.

Проклятые дрессированные умные животные справлялись уже сами. Они гнали толпу перепуганных и ничего не соображающих людей в точном направлении к черным закрытым машинам — «душегубкам».

Машины набивали людьми, и они отъезжали. Тех счастливцев, которые в машину не поместились, отпускали. Но часто случалось так, что мать «уезжает» в машине, а дочь остается на воле! Разлучались родные, а оставшиеся на свободе проклинали потом эту свободу всю жизнь.

В эти душегубки к людям выпускали выхлопные газы. И пока машина ехала до окраины города — люди в ней задыхались. Потом их сбрасывали в ямы и засыпали землей. А зимой — в Лопань. Это и была «облава». Так она проходила в нашем Харькове, на Благовещенском базаре.

Как только кончалась немецкая облава, «своя», «родная» облава обрушивалась на опустевшие прилавки. В момент растаскивали все, что оставалось на прилавках, что валялось на земле, и, прижав драгоценную добычу, бежали по домам. После облав рынок быстро пустел. А на следующий день в городе шли слухи, что в Харькове действуют партизаны. Облава — это как бы месть немцев за действия партизан.

Со временем харьковчане изучили тактику облав как свои пять пальцев. Сстоило черной машине или немцу с овчаркой появиться на базаре, тут же по рядам как по телефону — сначала тихо, а потом все громче и громче и, наконец, криком: «Облава! облава!» Весь базар сразу приходил в хаотическое движение. Иногда срывалось у немцев. Попадались чаще нерасторопные деревенские тетки, которые, ничего не соображая, боясь расстаться с мешком, добровольно бежали к черным машинам...

Мы с тетей Валей увидели маму. Она шла с Рымарской вниз, к нашему дому. Рядом с ней шла незнакомая женщина, а чуть сзади — мужчина. Все трое с ног до головы были в белом, как будто вываляны в мелу. Все несли на спине по мешку.

— Где-то грабили муку, — сказала тетя Валя, свесившись с окна. Когда они были уже почти у нашего дома, раздалось громкое «Хенде хох!» С противоположной стороны улицы к ним

шел немец с автоматом наготове. Все трое поставили мешки, подняли руки и пошли опять наверх, к Рымарской.

Сколько раз я видела, как ведут людей с поднятыми руками на расстрел. Но сейчас вели мою маму! Это было неправдоподобно, как сон. Вот я же на нее смотрю, это ведь моя мама, и... не верю.

Она ни разу не посмотрела на нас, вверх. К дому она шла под тяжелым мешком — голова вниз. Сейчас за ними шел патруль с автоматом в спину. «Хоть бы взглянула на меня, мамочка!» Мы с тетей Валей смотрели на маму до тех пор, пока все трое не скрылись из виду...

В нашем переулке «опоздавших» никогда не расстреливали. Машины, которые вывозили убитых, не могли проехать по нашему крутому, горбатому Мордвиновскому. Убивали внизу — на Клочковской или вверху — на Рымарской. Внизу, у парадного, стояли три мешка муки. Из окон, по обеим сторонам улицы, на эти мешки смотрели горящими глазами. Но выйти на улицу никто не решался. Очень близко раздалась короткая автоматная очередь — одна, должны быть еще две...

Потом мы услышали топот, подскочили к окну и увидели бегущих к дому маму и незнакомую женщину. Мы с тетей Валей бросились к ним навстречу, слетели с четвертого этажа и схватили мешок муки. На всех этажах в приоткрытых дверях стояли жители нашего дома.

— Леля! Что случилось?

— Потом, Валя, потом! Какая радость... Неслыханно, негаданно! Мучица! У нас мучица!

Женщина на ночь осталась у нас. Мама предложила ей устроиться на диване, она сидела в коридоре, обняв мешок с мукой, как подушку, и все плакала и плакала. Громко, навзрыд... А мама... Как будто не ее вели только что на расстрел. Она возбужденно рассказывала тете Вале, как и что было.

На базаре в машину забрали нескольких молодых женщин и мужчин, довезли до гастронома на Сумской. Он и сейчас там, этот гастроном, около театра Шевченко. Под гастрономом, в подвале, продовольственные склады. Их заставили грузить мешки с мукой из подвала в машину. Когда они нагрузили полную машину, женщины стали просить за работу немного муки. Из немцев были шофер, солдат и небольшого чина офицер. Они разрешили взять муки и — «шнель, шнель» — стали показывать на часы. Мама говорила, что она совершенно забыла про комендантский час от радости и помертвела, когда увидела патруль.

— Валя! Патруль около самого парадного! Мне было так

жалко муку... Ведут, все думаю: ну кому же она достанется? Доходим до театра, а машина еще стоит, представляешь?! Я бросилась к шоферу, к офицеру! Ведь мы наносили полную машину! Что я говорила — не знаю! На немецком, на русском... Офицер переговорил с патрулем, тот, сволочь, ни в какую. Шофер говорит про детей, я кричу: "кляйне киндер кранк...» Нас вот с нею отпустил, а того дядьку... Да не плачьте вы! — сказала она женщине в коридоре. — Радоваться надо! И мука цела, и мы живы-здоровы...

Какая мама боевая стала. Год назад ходила на менку и так же плакала, как эта, в коридоре. А теперь вон какая! Смеется. Приспособилась.

На следующий день по нашему переулку только и говорили, что кому-то досталось столько муки! Наших соседей мама одарила мукой, чтобы они не затаили злобы. Она стала героем дня.

Утром, целой группой — я, мама, тетя Валя, мать Зои Мартыненко и тетя Фрося — все пошли к гастроному.

— Вот, смотрите, здесь мы грузили, вот еще следы от машины, от муки... А вот тут мы умоляли нас отпустить. Два часа грузили, все болит. Ой, а вон тот дядька... Скоро ни одного мужчины в городе не будет...

— Мам!

— Что тебе? Потом... не до тебя.

К этому я привыкла. Но я узнала этого дядьку. Об этом я и хотела сказать маме Это оыл «армянин», который в самом начале войны, после первой же маминой «грабиловки», отбирал у нее ящик с банками. Я тогда еще крикнула: « Не бойся! Папа бежит!» Почему мама его не узнала?..

# ПЕТЕР

Мы спаслись от душегубки. Когда собаки погнали толпу, мама меня сильно толкнула в спину. Я упала на землю, она накрыла меня собой. Все бежали рядом, совсем у лица, спотыкались о наши ноги, ругались, падали и опять бежали. А когда побежали и мы, мама, стиснув больно мою руку, задыхаясь на бегу, говорила: «Главное опоздать... собак не бойся... кусают тех, кто паникует. Это не смертельно, главное опоздать...»

Мы опоздали. Но я видела совсем близко, как черно и страшно было в машине без окон. Как люди, тесно прижатые друг к другу, с искаженными от ужаса лицами смотрели из машины и хватали последний свежий воздух. Они вбегали по доскам в машину... была видна спина, но, очутившись в машине, человек тут же разворачивался лицом. Так и мелькало: спина — лицо, спина — лицо. Такие разные люди, разные лица... А один пожилой седой дяденька даже улыбался. Я подумала, что это и есть, наверное, сумасшедший. Таких я еще никогда не видела. Но что такое сумасшедший — меня очень интересовало. И, увидев каждое неестественное проявление человеком своих чувств, я гадала — «с умом он или «без ума». Ну как можно улыбаться, попав в душегубку?

После этого страшного дня меня так трясло, так хотелось быстрее домой. А мама сообразила — вдруг удастся спасти табак?! Но когда мы, освободившись, прибежали на наше место в торговом табачном ряду, мешок с табаком исчез.

Я всегда останавливаюсь на улице, если вижу драку, пьяных, катастрофу. Во время войны я ежедневно наблюдала у людей самые обнаженные человеческие проявления. Совсем близко от меня смотрели глаза, в которых был страх и ужас смерти, желание убить, счастье, что не умер... Все эмоции и страсти у людей в войну были на поверхности. Я так с детства привыкла к сильным потрясениям, что желание проникнуть вглубь, даже в самые неприглядные области человеческих отношений, стали для меня необходимостью, потребностью навсегда. Я не могу пройти мимо скандала. Стану в сторонке и «провожу» через себя все, что слышу, долго потом раздумываю, кто прав, а кто нет и почему... Может, они давно уже помирились, а я все хожу и анализирую, почему человек не сумел себя сдержать, почему он так неприлично громко кричал и становился неприятным и уродливым. Почему он потерял контроль над собой — ведь вокруг люди... А как бы я на его месте? Я бы тоже не сдержалась. Можно вытерпеть открытую грубость, но искусную ложь,

предательство... — да, он прав. Сейчас другое время. И совсем другие люди. Все эмоции ушли внутрь, вглубь, трудно бывает понять, что у человека на уме, потому что на языке у него совсем другое. Постоянно решаешь ребусы и шарады, вычисляешь, как стратег, ходы вперед, чтобы не остаться в дураках. Я тоже очень изменилась — куда делось открытое бурлящее веселье, щедрая, заражающая всех вокруг «папина» радость... Иногда они прорываются, но пугают тех, кто меня не знает близко, и радуют «своих». Значит, еще есть порох... И все-таки, самый неисчерпаемый источник эмоций, страстей, лиц, неоднозначных открытых характеров — для меня в той войне, в моем незабываемом взрослом детстве.

С годами все отстоялось, отложилось в душе и в сердце, а потом преломилось на экране. Я видела таких измученных женщин в жизни, как Мария Плещеева в фильме «Рабочий поселок» (1965 год). Когда все, казалось бы, потеряно, нет никакой надежды на свет, и все-таки где-то глубоко есть еще внутренний базис и она распрямляется, она снова живет!..

Как много было рядом таких внешне грубых, колких, яростных и человечных глубоко внутри, как Шура Соловьева из фильма «Дорога на Рюбецаль». И характер, и одежда, и жаргонная речь — все из моего военного детства. А в фильме «Вторая попытка Виктора Крохина» — роль Любови Крохиной. В ней я попыталась сыграть открытый характер, все вытолкнуть наружу, — ничего не приукрашивая — как было в войну, почти без подтекстов. А если и есть второй план, то шит белыми нитками, и тогда человек становится еще ранимее, еще нательнее... Попробовала быть, как мой папа, — он бы сейчас совсем не смог приспособиться, он был человеком «того» необыкновенного времени... Я на экране так же слепо и глупо люблю своего сына, как папа любил меня. Унижаю отчима моего сына так же, как папа унижал маму. И от этого любовь героини делалась мощной, необъятной, как у моего папы. В фильме ненавижу открыто, открыто говорю то, что думаю, с открытой душой, открытым сердцем. Пою громко. Так в войну жили.

Моя мама с каждым днем набирала силу. Теперь папа ее не узнал бы. Теперь тетя Валя прислушивалась к маме, соглашалась во всем. После той «облавы» мама больше не торговала табаком.

Они с тетей Валей вместе устроились работать в кафе. Это было не кафе, а как бы культурная пивная. По сравнению с темной дяди Васиной пивнушкой она была просторная, светлая, стояла в выгодном месте — на углу Бурсацкого спуска, как раз напротив входа на базар (теперь там сберегательная касса). В

кафе — десять-пятнадцать столиков... Из еды — всегда мой любимый винегрет, яичница и борщ. Подавали самогонку, шнапс и пиво.

Мама отвечала за чистоту в «зале», на кухне и в подсобных помещениях. А Валя резала, чистила овощи и мыла посуду. Была там и повариха. Очень злющая. Она ни с кем не сходилась близко, ни с кем не разговаривала, как немая. Если бы я была поваром, я бы целый день все пробовала и пробовала и обязательно бы поправилась! А она... Фи!

Тетя Валя чистила все сырое, а все вареное разделывала непременно сама повариха, чтобы продукты во время чистки не ели. Контроль за продуктами строжайший. Кафе содержали двое — мужчина и женщина, но не муж и жена. Он стоял у прилавка, разливал пиво и самогон, а она разносила еду и выпивку на столики. Когда они подсчитывали выручку, всегда крепко ругались. На кафе вывели белой известью: «Кафе Надежды Юрченко и Матвея Горбатых». Мужчина был мало чем примечателен. Главной была она. Такую отвратительную тетку редко встретишь. На лице, кроме раздражения, ничего. Между собой мы с тетей Валей называли ее «Шваброй» — за то, что она все время кричала: «А ты шваброй, шваброй!»

В зал входить категорически запрещалось всем, кто работал на кухне. А в зале каждый день происходило такое интересное событие! Звучала музыка! Пели душещипательные песни!

Его звали Петер. Он играл на аккордеоне и пел! Аккордеон был самым модным тогда инструментом. Когда я услышала, как поет и играет Петер, я «заболела». Вот вернется с фронта мой папа, купит аккордеон для «любимой дочурки», и я тоже буду петь и играть! Но я пойду еще дальше! В самых эмоциональных местах песни буду отбивать «чечеточку»! А? Все одновременно — и петь, и играть, и танцевать| Вот это будет номер! Он будет. Обязательно.

А пока я ходила каждый день в кафе к маме. Я ждала Петера. Он был красивый. На редкость. Высокий, изящный, артистичный, элегантный... Одет в коричнево-бежевой гамме: клетчатый пиджак с накладными карманами и хлястик сзади; брюки коричневые в широкую бежевую полоску. Волосы светлые, длинные, волной — совсем не по моде, но это придавало его лицу загадочность и романтику. А глаза большие, печальные... бежевые.

В кафе он появлялся шумно. Своим голосом перекрывал голоса посетителей. Входил всегда с одной и той же своей фразой: «Та, чево там!» Над этой фразой я часто раздумывала. Что она означает? Может, «чего нам бояться?» Он ее произносил

часто. Смысл слов «та, чево там» всегда был разным. Когда он в ходи в кафе, все ждали от него чего-то, все притихали, улыбались.

При Петере всегда находился его болельщик, поклонник — человечек маленького роста, с внешностью, о которой всегда говорят «стертая». Ходил человечек постоянно в поношенном, засаленном плаще, а на голове — немецкая солдатская шапочка с козырьком. Как только Петер входил роскошно в кафе, туда же с аккордеоном шустренько прошмыгивал человечек. А пока Петер здоровался и раскланивался, посылал Швабре воздушные поцелуи, человечек готовил аккордеон к «работе». Он его вынимал из черного футляра, ставил на стул и прикрывал зеленой суконкой.

У моего папы тоже была такая подстилка, только не суконная, а плюшевая, мягкая, и не зеленого цвета, а бордового. Он ее называл «бархамоткой», ее подкладывал под баян — на колени, чтобы брюки не терлись. А когда «отдыхав», он «етую бархамоткую» прикрывал его — чтобы «инструмент" не пылился.

Этот человечек, быстро сделав приготовления, незаметно уходил в дальний угол и там тихонько сидел, никак себя не проявляя...

С утра в кафе были в основном наши. Те, кто удачно торговал. Здесь ходили споры, торговые сделки. Часто две сцепившиеся руки разбивала третья. Бродяг и пьяниц сюда не пускали. Тут собирался «деловой цвет» нашего базара.

А днем появлялись и немцы, в основном младший офицерский чин. И когда входил более старший по званию, то младший по чину вскакивал и после «хайль!» торопливо расплачивался и исчезал.

Когда в кафе входили немцы, все менялось. Притихала русская речь, вдруг с еще большей силой гремело: «Та, чево там!» — и вступали звуки аккордеона. Про таких смелых мой папа говорил: «Ему хоть хрен по деревни, ничёгинька не боится...» Немцы немели от наглости... А может, так и надо? черт не поймет этих русских... И они начинали с повышенным вниманием слушать песни на русском языке. Как прекрасно пел Петер! У него был густой лирический баритон. После песни немцы иногда протягивали Петеру крупные немецкие купюры.

И вот тут-то, как из-под земли, выныривал стертый человечек. Он сам собирал деньги в немецкую шапочку, подобострастно и угодливо улыбался, благодарил по-русски, по-немецки, и подсаживался поближе к немецкому столику, переводил то, о чем пел Петер...

У меня было свое место, свой наблюдательный пункт.

Напротив зала — маленькая посудомойная комнатка. И если присесть на корточки, на кастрюле или на ведре, то из-под прилавка просматривалось все, что происходило в кафе. Главное, вести себя незаметно, не бросаться Швабре в глаза, чтобы не выгнала. Иногда затекали руки и ноги от неудобной позы, но я часами могла сидеть, опустив голову вниз, чтобы ничего не пропустить. Ведь там в зале пел Петер.

Под окном черемуха
И сиянье месяца.
Все равно, любимая,
Нам с тобой не встретиться...
Пойте, пейте в юности,
Бейте в жизнь без промаха...
Все равно любимая
Отцветет черемухой...

В глазах Петера блестели слезы. Иногда они даже скатывались по щекам. И тогда я в своем углу плакала вместе с ним. Мне было жалко любимую черемуху, которая обязательно отцветет. Было очень жалко себя, что сижу на кастрюле в углу и пропадаю напрасно. Ведь никто не знает, что я тоже пою. Если бы мне только разрешили! Я бы всех «разжалобила». У меня бы тоже плакали...

Зато дома, перед нашим шкафом с «волнистым» зеркалом, я выбирала «выгодный ракурс» — так, чтоб глаза попали «в волну» и стали в три раза больше, а нос стал «носиком» — в три раза меньше, и уже тогда пела про любимую и про черемуху, пока слезы и сопли не заливали все лицо. И тогда довольная собой, усталая и счастливая, шла на улицу гулять или в кафе... к Петеру.

Когда Петер заканчивал «Черемуху», все аплодировали. А он стоял, еще не раскланиваясь: «Шмага, прошу!» Подбегал человечек с белым носовым платком в ладони, как на блюде. Петер утрированно, драматично вытирал глаза, передавал опять платок человечку и только после этого встряхивался, улыбался всем: «Я опять здесь, с вами, дорогие мои...» Улыбался он очень добро и искренне. Рот у Петера был большой. Когда он улыбался, видны были все зубы во рту. Справа блестела металлическая фикса — крик моды!

— Леля! Запомни! Мужчина без фиксы — это не мужчина, — это я слышала когда-то от тети Вали. Я теперь с ней была согласна. Как красиво фикса блестела у Петера, аж глаза режет. Вскоре у тети Вали во рту тоже появилась фикса. Как же я ей завидовала!

У Петера, как у каждого эстрадного артиста, был свой «конек», своя «коронка» — свой коронный номер. Он его «давал» под конец. Его-то я и ждала. После длинных переливов на аккордеоне, после медленного вступления-размышления, шло неожиданно бодренькое: «умпа-умпа, умпа-умпа...» Так красиво, когда вдруг из мелкой дрожи-тремоло — в темп, из грусти — в радость, без перехода:

Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый,
Д' развевайся, чубчик, по ветру.
Раньше, чубчик, я тебя любила,
А теперь забыть я не могу.
Сдвинешь шапку, бывало, на затылок.
Пойдешь гулять и днем и вечерком.
А из-под шапки чубчик так и вьется,
Д' так и вьется чубчик по ветру.
Пройдет зима, настанет лето,
В садах деревья быстро зацветут,
А мне, бедному, бедному мальчонке,
Цепями руки и ноги закуют...
А мне, бе-е-едному, бедному мальчонке,
Цепями руки и ноги закуют.

Ну! Восторг! Все наперебой зовут Петера к своим столикам. Но человечек опережал: «Артист очень устал, граждане... нужен отдых... вам развлечение, а ему работа...»

Как я поняла, что человечек переводил немцам смысл песен? Именно по "чубчику». Нагнувшись к немцу, он что-то шептал. А немец, кивая, трогал себя за волосы и повторял: «Чубчи, чубчи — дас ист гут! Шнапс, битте — Петер — пиво! Шнапс!» Часто Петер, немецкий офицер и человечек с аккордеоном уходили из кафе вместе, в обнимку...

А когда Петер входил к нам на кухню — это был праздник. По-моему, в него были влюблены все женщины. Даже Швабра и та вся млела. Петер обладал редким мужским обаянием. От него исходила какая-то сверхъестественная сила. Вокруг него было магическое поле, в которое и очень хотелось попасть, но одновременно и страшно было. Я наблюдала за всеми — он всех обезоруживал... У тети Вали готовилось ее чудодейственное перевоплощение: с утра в платке, к приходу Петера — прическа, губы, бантики, «туфельки». На груди — кружевной передник, прикрытый сверху клеенчатым. (А вдруг зайдет Петер — клеенчатый передник слетит — и, пожалуйста, кружевной. Хо-хо! Шик!) И Швабра пошире подрисовывала свой узкий рот помадой.

И мама преображалась — она не делала специально, она светилась изнутри и хорошела. И я понимала, что она-таки может понравиться...

Ну, а я по уши была влюблена в Петера. Он мне снился ночами. С утра я считала время, когда же я, наконец, увижу его. Когда он входил на кухню, я бросала на него отрепетированный перед зеркалом «загадочный» взгляд. Такой был взгляд у Марики Рекк в фильме. Ведь именно после этого следует поцелуй. Значит, в этом взгляде есть сила...

Для всех у Петера была шутка, доброе слово, анекдот. Меня он гладил по стриженой голове. Ничего обиднее для меня не могло быть. Я резко вырывалась и, чтобы не выдать себя, сразу кружилась и напевала «под него» «Чубчик». Но меня ждал провал — я до четырнадцати лет сильно шепелявила, а в девять особенно. И как назло в песне слова все с шипящими! И получалось: «щубчик кущерявый». Я опять настойчиво бросала на Петера свой томный, загадочный взгляд — может, с первого раза до него не дошло? Наверное, он не понимает «моего чувства», надо ему помочь. «Что с тобой, киндер? А? Может, тебя кто обидел? Ты скажи... Мы его!!! Ах ты, мой «щубщик кущерявый». — И, подмигнув женщинам, Петер выходил в зал. Доносилось: — «Та, чево там! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!..»

Я стояла оглушенная. Какой стыд, как больно... Значит, мой взгляд незагадочный, значит, я просто жалка! Меня жалеют, надо мной подсмеиваются, а я так люблю! Ночью, в постели, отвернувшись от мамы, я тихо и горько плакала. Я уговаривала себя, что больше никогда не буду никого любить, чтобы страдать. «Не любить никого, никогда, ни за что!..»

Был август 1943 года. Все шло своим чередом. Петер пел свои песни, кричал свое: «Шмага! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!..»

Все повторяли его «Та, чево там», человечек «готовил» аккордеон, собирал деньги в свою шапочку, переводил немцам то, о чем пел Петер... Кафе процветало вовсю!

...Как обычно, Петер зашел на кухню, был весел, попробовал того-сего, свистел и, как бы невзначай, сказал маме: «Скоро в Харькове будут наши, поняла?» И быстро вышел в зал. «Та, чево там!»... Его приветствовали, пошла «Черемуха»...

А я ведь все слышала. Я следила за каждым его шагом, ревновала к Вале, к маме, даже к Швабре. Дома мама ничего не сказала тете Вале, только: «Валь, знаешь, а странный все-таки этот Петер...» А ведь секретов между ними вроде не было.

Вскоре начались бои за Харьков. Кафе закрылось. Петер исчез. Немцы наспех проводили последние казни.

Среди «партизан» я вдруг увидела того стертого человечка... Он так избит, что узнать его было трудно. Я на него обратила внимание потому, что он стоял чуть в стороне от других приговоренных и был в брюках, а не в белье. Он смотрел в землю, на груди была дощечка «Партизан». Петера среди них не было.

На нашей Клочковской, на Бурсацком и Благовещенском базаре еще вспоминали Петера, пели его песни и всем рассказывали, что «вот же как оказлось: этот Петер — ну, такой красивый парень с аккордеоном, и тот, что с ним рядом — ну, в немецкой шапке, на самом деле были советскими раэведчиками. Под самым носом у фрицев...»

Немцы, отступая, взорвали Дворец пионеров — свой главный штаб. В Харькове пронесся слух, что Дворец взорвали партизаны в тот момент, когда у немцев было там заседание.

«Наверняка Петер, — думала я, — конечно, Петер, кто же еще...»

# ШИПОВНИК

Была у меня до Петера еще одна влюбленность. Но влюбленность другого рода— «братская» или «сестринская»... Не знаю, как точнее. Была потребность кого-то опекать, себя отдавать и постоянно кем-то восхищаться. Маме было не до меня. Жива, здорова, не болею — это главное. А что там у меня внутри — этим никто не интересовался. Маме я была непонятна. А если и понятна, то сильной схожестью с папой, которая ее раздражала. «Оба идиоты»,—вырывалось у нее. Я искала себе объект, на который могла бы обрушить шквал чувств. Они мне раздирали душу и рвались наружу. Тетя Валя не выдержала моей любви, мама ей ближе. Мои друзья по базару нашли уже другую девочку. А единственного человека, который меня понимал, интересовался всем во мне и испытывал еще большую, чем я, потребность себя отдавать и заставлять себя любить, — моего папы — со мной не было.

И вот, в начале лета 1943 года, а может, и весной, я отправилась по улицам в поисках «объекта счастья»! На мне было новое платье — первое платье с тех пор, как началась война. Мама купила на базаре большую кофту из тонкой шерсти — бордовую с мелкими черными полосочками. Из нее тетя Валя сшила мне платье к маминому дню рождения. День рождения мамы отметили моим новым платьем. И я сама сделала из папиного довоенного галстука — голубого с желтыми цветочками — три бантика! И пришила их на месте пуговиц, на груди. Сразу три бантика! 18 мая 1943 года моей маме исполнилось двадцать шесть лет.

Значит, это было весной. Я шла в новом платье с бантиками, в старых ботинках по Рымарской, по Бурсацкому, по Клочковской и от счастья, как говорил папа, «света божжага не видела».

Тогда были первые бантики... Ничего с собой не могу поделать и сейчас — как только вижу платье, ненужное в данный момент, но вдруг замечаю, что на нем есть бантик... «Я куплю. Спасибо».— И, заплатив за покупку не торгуясь, прижимая ее к сердцу, счастливая, бегу скорей домой.

Никого не встретив, но довольная своим видом, я уже входила в наше парадное, как вдруг прямо напротив нашего дома, во дворе, увидела просто сказочную картнку. Девочка моего возраста держала в руке красивую деревянную стрелочку с изогнутой рукояткой и бросала мальчику деревянные кружочки-кольца. Он их ловил на такую же стрелочку и опять бросал кольца девочке. Двигались они уверенно, и видно было, что эта игра

(серсо) для них привычна.

Кто это? Я вроде всех знаю. Как я могла их просмотреть? Кто же это? Тихонько перешла улицу и подкралась к кирпичной тумбе. Недавно в этот забор попал снаряд. Доски разнесли на топливо. Остались кирпичные полуразрушенные тумбы, двор «оголился». С улицы все видно, что происходит во дворе.

Я стала пристально разглядывать и изучать незнакомую пару. На девочке было легкое розовое платье. Юбка пышная в сборку. А под ней — еще одна, более темного розового цвета. Рукав фонариком. Пояс завязывался сзади большим бантом. Лицо замечательное! Оно казалось бледно-розовым. Наверное, оттого, что с обеих сторон лица были огромные банты — ярко-малиновые! Ну и, конечно, у нее были две косички, завернутые бубликом. Оттого, что косы были тяжелые, бублики были продолговатые и все время били девочку по плечам. Каждый удар этих бубликов отдавался у меня в сердце... «Все, все. Отпускаю косы. Хватит подчиняться маме! Перестаю стричь голову под машинку. Да еще как стригут... полосами... Как стыдно, как больно. Такая красивая девочка. Кто она? Как ее зовут?»

Да, мальчик. Мальчик в синей матроске, в коротких штанишках, колено аккуратно перебинтовано. Наверное, просто царапина, ведь он же бегает...

Я нахально вошла во двор, хоть все дрожало от волнения. Ну не убьют же они меня, правда? А если не захотят общаться, так не очень-то и хотелось, подумаешь, «паны»... Они меня увидели, продолжали еще бросать свои кольца, но уже более скованно и смущенно, иногда поглядывая в мою сторону.

А потом пошептались и собрались уходить.

— Простите, почему я вас раньше не видела?

— Мы только переехали. В наш дом попала бомба.

Девочка так тепло и по-дружески это сказала, что у меня прошло волнение и показалось, что я ее знаю очень давно. Вот он, вот он, «объект»! Нашелся совсем рядом. А я ходила далеко от дома, искала.

И в это время я услышала женский голос: «Лара! Юра! Я вас жду!» Они вежливо кивнули мне и побежали в дом. Парадное было рядом, и я слышала: «Обедать и мертвый час. Устали мои маленькие котята». Вот какая мама: «обедать», «котята», «маленькие»... Хоть бы мне так кто-нибудь сказал! А с чего это «мертвый час» среди бела дня? А! Ну да! Как до войны у нас в детском саду... после обеда мы спали, тогда мы были маленькие. А сейчас уже восьмой год. Тю!

Лара и Юра были близнецами. Я еще долго пристраивалась к ним во дворе. Потом они пригласили меня в дом. Но сначала я

познакомилась с их мамой. Впервые я увидела ее во дворе и была поражена, какая она некрасивая и старая. Я не помню ее отчества. Звали ее Клавдия. Клавдия ходила в очках, сильно уменьшающих глаза и все время, без передышки, курила длинные папиросы. Косы такого же цвета, как у Лары, были закручены прямо на ушах, как рога у барана. Однажды утром я увидела, как она заплетала свои косы. Оказалось, что у нее были огромные уши — просто два больших вареника. Так вот почему она накручивает «барана»...

Их папу я видела всего несколько раз. Он работал где-то у немцев. Возвращался только к комендантскому часу. Он тоже ходил в очках, немолодой, с неприятным голосом.

Ну как же у таких старых и некрасивых родителей могут быть такие чудные дети! Может, ее мама была и не такая старая, но по сравнению с моей мамой... Ведь маме только-только исполнилось двадцать шесть лет, а Клавдии — лет сорок с чем-нибудь.

У них была двухкомнатная квартира с темной передней. В ней готовили обед на примусе. Керосин у них был всегда. Один раз я предложила Лариной маме принести воды. А чтобы она не отказалась, я схватила ведро — и на ближайшую колонку. А что! Подумаешь, мне нетрудно. Зато ближе познакомлюсь с такой интересной семьей.

И познакомилась. Так интересно увидеть их квартиру. У них было все — и большой стол с множеством стульев, и зеркальный диван с валиками, и большой фикус, и — главное — черное пианино! Люди, имеющие фикус и пианино, считались богатыми.

В углу, за большим диваном,— детский уголок. До войны мне папа тоже покупал игрушки. Но таких у меня не было. Это была нормальная жилая комната, только игрушечная. Посередине — столик, а вокруг чинно сидели в своих креслах куклы и мишки разной величины. Стоял настоящий гардероб с зеркальцем. На диванчике сидел целлулоидный пупс в сарафане. А на деревянной кровати, покрытой желтым кружевным покрывалом, возлежала кукла с закрывающимися глазами. Таких игрушек я не видела больше никогда! Что-то внутри куклы испортилось. И если раньше она кричала «а-а-а» после каждого переворота вниз головой, то теперь только через два на третий. В руки игрушки брать не разрешалось. Все можно было смотреть на расстоянии. Куклу очень редко «демонстрировала» сама Клавдия.

Мое единственное платье с бантиками мама носить каждый день не разрешала. Платье только «на выход»! А куда выходить? Мы «выходили» лишь на базар. Платье „на выход», шаровары «на вырост». Вот я и ходила в жару все в тех же шароварах и курточке с молнией, которые мне перешили из немецкого байкового серого халата, а молнию заклинило навеки. Я каждое утро, сцепив зубы

от обиды, с трудом просовывала голову в узкий ворот. Да еще шаровары на веревке... Резинки уже давно «кончились». Нужно было уметь виртуозно завязывать узел на шароварах, а то в экстренный момент его могло так «заесть», что о последствиях лучше и не думать. Тут же сразу перекошенное лицо мамы. Какой позор! Все дети как дети, а... А что у меня все на веревках, а у других детей, как у Лары, все на резиночках, да еще и с кружавчиками, — попробуй ей скажи. «Дети как дети...» Пусть Лара попробует так завязать узел!

Руки у меня вечно были в ссадинах и подозрительных розовых пятнах. Я их постоянно прятала за спину или в карманы. Так что ничего удивительного и обидного не было в том, что Клавдия ничего не разрешала мне трогать руками. Даже лучше, пусть трогает сама, а я буду смотреть.

А вторая комната была детской. «Детская» была неудобной, продолговатой, как школьный пенал. Одна кроватка с никелированными спинками справа от окна, другая — точно такая же — слева. Так что брат и сестра находились в разных концах комнаты. У каждого двухэтажная белая тумбочка. У каждого свой коврик на стене и под ногами. Вся мебель и стены белого цвета.

Я влюбилась в этот дом, во все белое, чистое, в Лару; сильно переживала, когда Лара и Юра дрались. Ну зачем они снова сцепились, им ведь так хорошо...

Дома я долго разглядывала себя в зеркало. Намочив водой свой чубчик, я укладывала его то в одну, то в другую сторону. Я фантазировала: в конце концов когда-то волосы вырастут, можно будет их подкрасить, как это делает тетя Валя, и тогда они будут, как у Лары. Мне так хотелось походить на нее! И уж совсем втайне я мечтала о том, что, если у меня будут дети, когда я вырасту, я их обязательно назову Юра и Лара. И хорошо, если бы они были тоже близнецами. «Отмучиться» — так сразу!

Мама как-то жаловалась тете Вале, что роды — это мучение, что она не хотела иметь ребенка, что это Марк заставил, что она хотела учиться, а он... Вот так. Если бы не мой папочка, меня бы сейчас и на свете не было...

Клавдия говорила, что, как только Ларочка подрастет, она обязательно будет учиться музыке. «Играть на рояле для девочки необходимо. Это красиво и благородно». Ларочка нечисто пела и играла «собачий вальс». Но мне нравилось. Мне в ней все нравилось.

Я так старалась «быть на уровне», так следила за собой, чтобы, не дай бог, не вырвалось одно из моих «словечек». Тогда мне запретят дружить с Ларой. Я готова была носить воду, мыть

посуду, выносить мусор, лишь бы смотреть на Лару, на игрушечную комнату, слушать «собачий вальс»... Близнецы были старше меня на полгода, но мне они казались маленькими детьми. Действительно «маленькие котята». И мне нужно было их «опекать»! Постепенно я теряла свою индивидуальность.

И один раз я сказала, что слышала, как «вы, Клавдия, напевали «Осень», и если она вам нравится... это моя мама тоже любит... можно ли, я спою для вас «Осень»?»

— С удовольствием послушаю тебя, голубушка...

Из всего моего репертуара «Осень» — самое подходящее, что прозвучало бы достойно в этом доме. Меня прорвало! Как будто джинна выпустили из бутылки! Я пела «Осень» с разнообразными оттенками осенней уходящей любви. «Глаза распростерты», руки за спиной. Все, как говорил папа, — «дую свое и ни на кого не обращаю внимания...»

Клавдия смотрела на меня с нескрываемым интересом. Она на меня первый раз так смотрела, как будто раньше и не видела меня. Это я заметила. И еще тоньше, еще изощреннее модулировала голосом.

Когда я спела, лицо Клавдии сразу приняло прежнее бесстрастное выражение. А Лара вдруг расплакалась. Это было так неожиданно и непонятно. Что я сделала? Чем я могла ее обидеть?

— Доченька, котеночек, не плачь. Ты тоже скоро будешь учиться играть и тоже будешь петь...

Ах, вот в чем дело! Ну, конечно! Я ведь ее могу научить многим-многим песням.

— Ларочка! Я тебя научу петь, не плачь. Я знаю такие песни... столько!

Пришел с работы их папа...

— Почему плачет Лариса?

Клавдия быстро его отвела в сторону, что-то зашептала. Но он, еще более громким ледяным тоном, продолжал:

— Я же вас просил не пускать в дом посторонних. Я этого терпеть не могу, я вас просил...

Меня он видел второй раз. Но было ясно, что еще тогда, с первого раза, он запретил меня пускать в дом. Было неловко. Все смотрели в пол. Я ушла.

Я понимала, что это плохой отец. Разве бы мой папа так сделал? Разве он мог обидеть ребенка, девочку? Он бы согрел, накормил... ой, да что об этом говорить, это ведь мой папа!

А Лара хорошая. И я ее обязательно научу петь. И мама у нее неплохая. Ведь у нее глаза сияли, когда я пела. Но я решила какое-то время к ним не ходить.

«Надо людям дать передых».

Вскоре около моего дома меня поджидал Юра. Он сообщил, что у них с Ларой день рождения. Они меня приглашают. «Только мама просила тебя прийти пораньше!». Все-таки я молодец! Терпение — великое дело. Значит, они меня любят. Значит, я им нужна.

Теперь: что надеть? Ну, надеть платье с бантиками. А вот на голове у меня будет точно такой же малиновый бант из парашютного шелка, как у Лары. А что подарить? Я обшарила всю нашу квартиру, перерыла все ящики с тряпками — ничего нет! Можно попросить у тети Вали перо или белый веер... Но, во-первых, она не даст. А в-вторых, зачем он Ларе и Юре? Они же не собираются быть артистами. Тем более что у них один день рождения на двоих.

И тут я увидела, как мы идем с папой и мамой по желтой песочной дорожке, вокруг много-много цветов... Это было перед войной... Но где?

Мы гуляли по Ботаническому саду. Он тянется параллельно Клочковской и вниз от сада Шевченко. Папа восхищался цветами, мечтал о собственных розах, о земельке. Он бы выращивал виноград и делал свое вино. А еще лучше бы развести пчел. Папа всегда мечтал по-крупному. А мама напевала песню, которую она в то время очень любила. Папа «приставал» к маме, а она как бы отталкивала его. Но на самом деле то и дело с удовольствием к нему прижималась. Я за ними наблюдала и слушала мамину песню:

Наш уголок нам никогда не тесен...

Я часто во время войны видела эту нашу прогулку по Ботаническому саду, слышала запах цветов... И когда в «Осени» я пою:

> Наш уголок нам никогда не тесен,
> Когда ты в нем, то в нем цветет весна.
> Не уходи, еще не спето столько песен,
> Еще звенит в гитаре каждая струна... —

я представляю нас троих на желтой песочной дорожке, а вокруг — много-много цветов. И весна!

Рано утром я отправилась в тот Ботанический сад за цветами. Наверное, это и есть «детство»: город разрушен, а Ботанический сад так и должен благоухать розами, сиренью, желтыми песочными дорожками.

Когда я добежала до сада, мне показалось, что я попала

совсем не туда. Вся территория сада была изрыта окопами, траншеями, рвами и лунками от бомб и снарядов. Всюду валялись осколки, каски, колеса, зенитки и пулеметы кверху дулом, патроны...

Одни патроны мне очень понравились. Я давно их заприметила. Длинные, с зелеными, малиновыми и желтыми головками. Если цветную головку пули обвязать платочком, подрисовать глаза и рот, то получится матрешка.

Но сейчас мне нужны были цветы. Только их нигде не было. Одна зелень, одни уродливые кусты, ничего пестрого. Я обошла чудом уцелевший красный кирпичный дом — бывший административный корпус сада, а может, лабораторию, и увидела около ограды куст шиповника с еще сохранившимися розовыми цветочками. Искололась, но обобрала весь куст — до единого цветочка! Дома поставила цветы в ведро. Мамы, к счастью, не было, и — к Ларе и Юре.

Они еще спали. Клавдия суетилась в прихожей около керосинки. Задумызался фруктовый торт. Я принесла воду, почистила яблоки. Потом проснулись дети. На тумбочках их ждали подарки, обвязанные ленточками. Но было решено развернуть сюрпризы при гостях, к двум часам дня. Все таинственно, загадочно, все так ново и интересно...

Я к ним относилась так чисто и преданно, что ни разу у них ничего не попросила!.. Ничего не украла, хоть и очень хотелось попросить и было что украсть... Нет! Нет, и все!

Уже было все готово. Клавдия пошла себя приводить в порядок. Лара и Юра, с бантами на груди, расставляли на столе тарелки, раскладывали по две вилки, по два ножа и по одной большой ложке поперек тарелок... Каждому по бокалу и по салфетке, продернутой через колечко... У нас в доме такого никогда не было. Я все «мотала на ус». Когда я вырасту и буду зарабатывать деньги, обязательно папочку буду кормить вот так красиво за столом — с салфетками, бокалами, колечками.

Я тоже побежала домой. Быстро помыла руки, ноги, надела платье с бантиками. Заскочила к тете Вале. Она завязала мне малиновый бант прямо надо лбом — там были самые длинные волосы, и он крепко «сидел». Когда тетя Валя отвернулась, я быстренько попудрилась ее голубой пуховкой. Взяла букет шиповника и осторожно понесла его через дорогу, чтобы не осыпался. Первый раз в жизни я шла к кому-то на день рождения!

Уже в парадном я почувствовала, что все в сборе. Я услышала голоса и дружный одобрительный смех. Ясно, что Клавдия демонстрирует куклу с закрывающимися глазами. Потом я зашла в темную переднюю. Кто-то на пианино играл чудесный вальс. Я

его знала — папа его «разучивал». Это «Елка» Ребикова...

Я стояла с букетом, в платье, с бантом на голове, и была очень счастливая, была уверена, что сегодня «выделюсь», буду петь, всем понравлюсь...

— Молодец, Сереженька. Умница. А теперь для меня «Жаворонка» Глинки, пожалуйста!

Мне хотелось посмотреть на Сереженьку, и я заглянула в комнату. Из гостей там было двое взрослых, мальчик лет десяти и «Сереженька» — детина лет четырнадцати. Целый Сергей, а не «Сереженька».

Клавдия меня увидела, вскочила и быстро вышла ко мне в переднюю, закрыв за собой дверь.

— Какая умница, детка, что пришла.

— А как же! У Лары такой праздник!

— Это нам? — она взяла букет, поморщившись. — Ай-ай-ай, какие колючие...Зачем же столько, деточка?.. И тут же положила цветы на кухонный стол. Она похвалила «мой вид» и попросила немного ее «здесь подождать».

Клавдия говорила со мной так, будто мы с ней сегодня не виделись. Вот стоит ведро воды... Я его сама принесла — сегодня. Я ничего не понимала, только чувство чего-то недоброго подкатывалось к горлу. Зашла Клавдия и опять прикрыла за собою дверь. В комнате было тихо...

В руках у нее была тарелка с яблочным тортом, нож и вилка. Она поставила тарелкуку на стол, отодвинула букет шиповника, потрепала меня по затылку. Я кивала, улыбалась, а когда увидела нож и вилку, сказала, что могу торт съесть и руками — "Зря вы беспокоитесь». Она вышла к гостям. В передней было темно. Свет шел сверху из окна в комнате.

Я сидела, смотрела в стену и ничего не видела. Даже запаха торта не чувствовала. Обыкновенный пирог. Я вышла... не плакала... все омертвело...

«Тогда» начиналось то, чего я так боюсь и сейчас. Все неестественное и фальшивое, вежливые и красивые слова, в которых нет правды и к которым не придерешься, — эти слова расточают каждому, ничего не чувствуя, пока от тебя есть польза, — это все не мое. Я это ненавижу. Если потом на улице я встречала кого-то из той семьи, я проходила мимо, как будто мимо столба или дерева. А они вежливо кивали, здоровались... А потом перестали.

Так случилось, что потом мы с Ларой учились в одной музыкальной школе, только у разных педагогов. Но тогда, в четырнадцать лет, я точно знала, что «научиться петь и играть» — невозможно. А «божий дар»??

# КУКОЛКИ

Мои «влюбленности» в конечном счете всегда приносили мне только боль. «Надо научиться всегда быть одной, и тогда не придется мучиться и разочаровываться" - так я себе внушала. И на первых порах от этого решения было легко и все получалось. Но только на первых порах. А потом... Проходило время, и я опять не могла жить без людей, без отдачи, без «влюбленности». За это время накапливались силы для любви, и «объект» находился сам собой.

Весной и летом я всегда душевно болею, больше, чем зимой. Зимой холодино, я мерзну. А весной выходишь в мир — солнце, зелень, тепло, и почему-то заливает беспричинная радость, все вокруг и ты сама пронизана насквозь фантазией и оптимизмом. И все это обрушиваешь на «объект», хочешь с ним разделить все это, а «объект» или не понимает тебя, или бессилен выдержать то, что ты ему предлагаешь. Или у него просто другая «группа крови»...

И когда я — в какой уже раз — вновь оставалась на мели, сидела и горько переживала свое очередное поражение («Все! это уже точно все! Не-ет, теперь-то это точно конец...»), мой папа плакал со мной и утешал: «Не, дочурочка, не выйдить в тебе, по себе знаю, усе вже знаю... Не выйдить... Вот так, детка моя...»

Но если делать сознательный отсчет этой моей перманентной боли, то все началось тогда — летом 1943 года. Те дни, те недели я не вспоминаю, а «ощущаю» — как при воспоминании о травме ощущаешь вдруг физическую боль и страх, что это может повториться. И тогда все оглядываешься и оберегаешь себя от возможного повтора.

Теперь я знаю и что такое физическая травма. Мои душевные травмы много опередили физические. Но начинаются они абсолютно одинаково. Они не начинаются, а обрушиваются на тебя. А ты в это время готовишь себя к другой жизни, существуешь на другой волне...

Я стояла с букетом, в платье, с бантом на голове. Я была очень счастливая, я была уверена, что сегодня я «выделюсь», буду петь, всем, всем понравлюсь. Так начиналась душевная травма.

В 1976 году, четырнадцатого июня, я стояла на льду, на коньках, на съемке... На съемке! Я была очень счастливая. Я снимаюсь в музыкальной картине... Я играю параллельно острую драматическую роль, об этом я мечтала. У меня еще два интереснейших предложения — об этом я и не мечтала... Кончилось, кончилось долгое и изнурительно текущее время простоя. Работа, дорогая! Я тебя дождалась, здравствуй!..

Папочка, дорогой! Как бы ты был счастлив, если бы дождался вместе со мной! Мне так сейчас хорошо. Как опьянение, как пишут о состоянии эйфории. Да, вот точно — эйфория от счастья!

...А через десять минут я лежала на руках у членов советско-румынской съемочной группы «Мама»... Кругом лед. Положить не на что — держали на руках...

«Эйфория» кончилась в секунду. Цирковой клоун шутил на льду, упал мне на ногу, и она сломалась. Просто и быстро.

Кажется, что умирают все, но не ты. Кажется, что чью-то маму могут вести на расстрел, но не твою. А когда на твоих же глазах ведут твою, то ты не веришь своим глазам. Человек попал в катастрофу, а я нет, я не попаду... И когда с тобой уже вот сейчас произошло, и ты смотришь на свою сломанную ногу, то она тебе кажется веткой, которую рубили топором, но не получилось, и она повисла на зеленой шкурке... Да нет, это не моя нога, у меня все в порядке...

И даже когда уже едешь в «скорой», лежишь на спине и видишь перед собой испуганное, вдруг притихшее, бледное лицо неистовой и яростной женщины — режиссера Элизабет Бостан, — не хочешь читать на ее лице правды. «Элизабет, дорогая, но волнуйтесь... Сейчас наложат гипс, и через три дня мы закончим «лед»... А над головой, в узких окнах «скорой», мелькают верхушки домов улицы Горького. Вот и надпись на доме: «Чтобы знать о событиях в мире, имейте газету в каждой квартире...». Значит, скоро и мой дом. А параллельно проясняется в сознании: «Кажется, со мной... Кажется, случилось... Что же это? Неужели правда? За что? За что?»

А через год, когда начинаешь «вставать на ноги», ты уже другой человек... Что бы ты ни говорила, как бы ни была увлечена и даже влюблена, рядом с тобой живет еще что-то. Ты идешь, а это «что-то» выбирает тебе дорогу получше, чтобы ты не споткнулась и чтобы тебе не было больно. Ты легка, изящна, элегантна, но ты идешь вниз по лестнице, и это «что-то» выбрасывает твою руку вбок, и она шарит по стене и ищет опоры. И ты в своей элегантности делаешься смешной и жалкой. Но тебе уже все равно — ты оберегаешь себя от повтора. Потому что ты знаешь: это произошло с тобой. И это может произойти опять.

И моральная травма, и физическая — очень похожи. Обе хочешь забыть поскорее, как тяжелый сон. Обе заставляют тебя вести себя и жить по-другому. Обе оставляют рубец. Обе заставляют постоянно задавать себе вопрос: «болит или не болит?», «прошло или не прошло?»

И обе, нанося поражение, удар, потом, впоследствии, приносят победу. Травмы заставляют тебя пережить наивысший

пик трагедии и счастья! И когда в роли есть хоть намек на подобное — тебе все ясно, потому что у тебя такой потолок, такой запас перенесенного!

Можно «прожить» на экране драму, трагедию человека только тогда, когда ты сам прожил в жизни что-то похожее, хоть приблизительно. Рассказать об этом нельзя. То есть рассказать как раз можно, но научиться этому нельзя. Тогда можно «сыграть», но не «прожить». А «играть» — нельзя. Стыдно...

...Тогда, в детстве, я металась со своей травмой. После «букета шиповника» я помнила свои чувства, но сформулировать их могу только сейчас. Тогда ощущение физической боли в сердце, напрасной затраты душевного порыва, своей ненужности — я должна была «уладить» в себе, найти утешение «своими силами». Обязательно!

Я ходила по городу, по излюбленным и изученным развалинам, и старалась ни с кем не знакомиться, не общаться, зашла я и в Ботанический сад. Специально зашла. Чтобы проверить — «болит или не болит», «прошло или не прошло». Еще не прошло... Я бесстрашно смотрела на куст шиповника. На нем не было ни одного цветка! «До свадьбы заживеть, дочурочка моя дорогенькая...»

Я набрала в карманы самых красивых патронов и отправилась домой. Мама с тетей Валей с утра ушли на работу в кафе. Стола у нас не было. Сожгли зимой, а все, что мама приносила с базара, мы раскладывали на широком мраморном подоконнике или на железной печке, если она не топилась. Свои игрушки я тоже расставила на печке. Огрызком карандаша для бровей, который для мамы «оторвала от себя» тетя Валя, я нарисовала глаза, нос и рот на разноцветных головках этих патронов. Кажду обвязала тряпочкой, как платочком. У меня получилось сразу десять кукол. Я расставила их по цветам, как близнецов. И всем дала имена. Впереди стояли малиновые близнецы — самые красивые. Вообще со стороны приятно было — на черной круглой печке десять разноцветных пестрых куколок!

Я с ними возилась целый день. А потом пришли мама с тетей Валей. Когда мама увидела моих кукол... на плите! Что это было!!! Вначале, уже по инерции, ударить по физиономии. А потом... И что я хочу взорвать квартиру, и что я использовала весь карандаш — где теперь такой достанешь! И, конечно, какая она несчастная, что я такая же, как он, — все тяну из мусорника в дом. Потом включилась тетя Валя.

— Доця! Ты что, в самом деле? Ты же уже большая! Эти патроны стреляют, и мы можем все погибнуть, доця! Леля! Ты права. Дети — это же тихий ужас! Пусть лучше она ходит с

нами... Нет! Новое дело! Это же кому сказать... Товарищи! Приходим домой, а тут остался один пшик...

Куколок своих я вынесла в развалины, поставила их в ряд и с каждой из них попрощалась. Это были трассирующие пули.

За «куколок» я стояла в углу на коленях — там меня часто забывали. Вначале это наказание казалось обидным и унизительным. А потом я его нашла интересным, даже стремилась к нему. А что? Стоишь себе, смотришь в угол, колупаешь ногтем стенку, никто тебя не шпыняет, ты не «лезешь» и к тебе не «лезут». И обида постепенно «уходит», становится легче. В голову приходят всякие фантазии, видишь разные светлые довоенные «картинки». И когда уже о тебе вспомнили, и пора «вставать» — с большой неохотой расстаешься со своим особым миром. И приходится изображать на лице обиду, а то моя «зоркая мама» сразу поймет, что стояние в углу — не самое плохое наказание. И, не дай бог, заменит его на что-нибудь новенькое...

Когда моей дочке Маше приходилось стоять в углу, я украдкой за ней внимательно наблюдала. Она совсем на меня не похожа. Ни характером, ни внешностью. Очень любит петь, но поет нечисто. Удивительно пластична, прекрасное чувство ритма, а поет нечисто! Ну неужели ничего «моего» нет? Не может так быть, так не бывает...

Точно. Когда она стояла в углу, я с удовлетворением наблюдала знакомые проявления: мой ребенок, счастливый, что его оставили в покое, стоит себе в углу на коленях, колупает стенку ногтем. А через некоторое время из угла даже доносится робкое: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама...»

Я не пела... Она явно пошла дальше меня. Вот жалко только, поет нечисто...

# ПЕНИЦИЛЛИН

Опять бои, опять пожары, опять орудийная перестрелка, опять бомбежки... Опять немцы отступают и взрывают все, что невозможно забрать с собой. И опять наготове, с мешками, ведрами и корзинами жители города — все, кто вынес голод, холод, расстрелы, казни, облавы и душегубки.

Тетя Валя пронюхала, что недалеко у немцев есть медицинский склад.

— Леля! Представляешь... мы с тобой приносим ящик пенициллина! Ты подумай, как его можно выгодно продать... Леля! Идем... Это самое выгодное дело сейчас...

Слово «пенициллин» только-только появилось на базаре... Раньше «сахарин, сахарин», а теперь «пенициллин». Он попадал на базар через немецких солдат, которые тихонько продавали его из своих походных аптечек. На базаре говорили, что пенициллин — «это тебе не стрептоцид». Это волшебное средство. Помажешь, и рана прямо на глазах затянулась, выпьешь — туберкулез как рукой снимет. И клялись покупателям, что все это видели собственными глазами.

И мама с тетей Валей пошли в поход за пенициллином. Они ушли вечером. Из окна я видела, как они скрылись в темноту, по направлению к Клочковской...

Над городом облако дыма, гари и пыли. Безостановочная орудийная перестрелка, город дышит огнем и дымом, как живой. Непонятно, откуда и куда стреляют, где наши, где немцы. Нет комендантского часа, и впервые вечером на улице люди. Неразбериха, друг друга не слышно, нужно очень сильно кричать, перекрикивать бой артиллерии и все это не пять-десять минут, а бесконечно. И если сейчас, вот так, перенесешь себя в ту горящую лаву, то ужас берет, когда представишь, как две маленькие хрупкие женщины бесстрашно пошли в ад «за пенициллином».

Они не возвращались очень долго. Ждать их было тяжело и мучительно... Постепенно сковывал страх. В голове роились страшные мысли, перед глазами страшные видения. Вот мама идет с поднятыми руками к виселице... Вот меня отдают в приют, а папа вернулся с фронта и меня ищет, а я его жду и жду...

Я закрываю окна, несмотря на жару и дым. Оттого, что окна почти всюду забиты фанерой, в комнате темно. И от взрывов сотрясается весь дом, как избушка на курьих ножках, прыгает кровать с шариками, диван и железная печка с обломанной трубой...

Я уже не могу сдержаться и плачу — тихо, чтобы не слышать

своего голоса, и прошу у мамы прощения... Она мне теперь кажется такой доброй, такой смелой, такой красивой, самой лучшей на свете! «Только бы она осталась жива. Только бы она ко мне вернулась, моя мамочка!» — обращалась я к какой-то сверхъестественной силе. Есть же на свете сила, у которой можно попросить спасения моей мамы. «Я ведь не буду больше никогда обманывать. Никогда! Ну, честное слово! Ну, под салютом всех вождей!»

Вернулись они под утро. Обе обгорели, платья висели клочьями, руки и лица в ссадинах, носы черные, как у кочегаров. Притащили большой ящик. Они были такие возбужденные, как будто вернулись после дня рождения навеселе. Хохотали и подсмеивались друг над другом без остановки. «Хохочут себе... а я тут с ума из-за них сходила, плакала. Ей на это наплевать». И опять я постепенно наливалась обидой и злобой на маму.

— Леля! Если это действительно тот «пенициллин», то мы с тобой обеспечены до конца войны... Аллес нормалес, хо-хо!

«Ага, голубушки, вы еще даже не знаете, что и приволокли...» Я подошла к ящику и попробовала его поднять.

— Доця! Не лезь! А вдруг там что-нибудь взорвется?

— А вы же несли! У вас же не взорвалось...

— Доця! Никогда не сравнивай себя с нами. Ты ребенок!.. И должна знать свое место... ясно?

Вот уже и тетя Валя заговорила мамиными словами. Они еще похохотали, а потом папиными инструментами стали открывать ящик. Лично мне этот ящик с пенициллином ничего хорошего не обещал. Поесть там нечего, а что они заработают потом, так это же будет потом... Я лежала на кровати и с интересом наблюдала за мамой и тетей Валей. Они сняли с ящика крышку, убрали сначала одну плотную бумагу, потом вторую — прозрачную, шуршащую. Сколько раз уже на этом же месте происходила точно такая же сцена, и всегда у всех трясутся руки, и слышно прерывистое дыхание, и глупые нервные реплики: «осторожнее», «не так», «дай я», «хо-хо!», «кажется, я знаю, что здесь»...

А потом они стали вынимать четырехугольные пачки — желтого и голубого цвета.

— Нет, Валь, это не то. Ты посмотри на дне, дай я...

— Да нет ничего, Леля! Тут одна бумага...

Мама вынула из пачки небольшого размера бумажную салфетку. На ней были оттиснуты крестики и кружочки.

— А где же пенициллин? — медленно и драматично произнесла тетя Валя. А мама как рассмеется. Как бывало еще при папе. Мама так смеялась! Аж жутко становилось от ее смеха.

— Валь, ха-ха-ха-ха, Валь. Не поняла, ха-ха-ха-ха. А я

поняла, ха-ха-ха. Это... это... Ох, прости душу грешную! Фух! Это... туалетная бумага. Что, немцы пенициллин оставят, а бумагу повезут с собой? Фух...

Кончился у обеих этот шоковый смех, это неестественное веселье. Мама затихла и начала плакать. Она плакала редко. Мне было не по себе, когда я видела у нее слезы. Я не знала тогда, что мне делать...

Папа плакал очень часто. Трогательно, любил, чтобы его утешали и жалели. Он никогда не скрывал своих слез и не стеснялся их. Плакал открыто и без подготовки. Плакал сразу. И так же сразу успокаивался. Он быстро переносил свое внимание на что-то другое. Так что через десять минут и не поверишь, что этот жизнерадостный человек только что горько плакал. В его глазах сразу же начинали светиться игривые искры, он шутил, хорошея и расцветая, глядя на «ухажерок»... И готов к встрече с «кровенными»...

Мама плакала одна. Она не любила, если к ней подойдешь с утешением, становилась всегда злой и холодной. Я себя в таких случаях чувствовала лишней и пережидала этот момент.

В тот раз мама плакала, не стесняясь. Даже не ушла в другую комнату.

А тетя Валя, чтобы не заплакать вслед за мамой и чтобы себя хоть чем-нибудь утешить, перебирала эти пачки с салфетками, рассуждала о том, что «они, наверно, предназначались для высшего командования, наверное, для генералов - простому солдату такую салфетку не дадут...» Потом взяла себе несколько пачек и грустно поплелась в свою комнату с ангелами, перьями, актерами из немого кино.

Салфетки по своему прямому назначению мы не употребили. Я с удовольствием просто держала в руке цветные бумажки. Тетя Валя ими очень красиво украсила свои многочисленные полочки, красиво подложила под каждый флакончик голубую или желтую салфетку.

А мама долго ничего не могла придумать. Мы пробовали и есть на них, но салфетки были такие нежные и тонкие... Когда мама на них смотрела, у нее всегда портилось настроение. А потом она все их отнесла тете Вале.

Через день после этого «пенициллинового похода» немцы навсегда покинули Харьков. 23 августа 1943 года в наш город пришла Красная Армия. Начиналась новая жизнь!

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

Это была совершенно другая армия. Не верилось, что за полгода может произойти такое перерождение. По нашей Клочковской к центру города опять вступала армия. Наша Красная Армия! Да... Вот это армия! Танки, машины, солдаты в новой форме с иголочки, в скрипучих сапогах. Это вам не валенки по мокрому снегу «хлюп-хлюп», как тогда, в феврале. Взрослые говорили, что это наши новые моторизованные части.

Второе освобождение Харькова у меня связано с вкусом и запахом акации. Отовсюду жители несли солдатам большие букеты розовой и белой акации. В Харькове ее очень много. Она сладкая, особенно розовая. Я знаю, когда хотелось есть, прекрасно «шла» и акация...

Солнце и запах акации стояли над нашим освобожденным городом. Мне посчастливилось доехать на танке аж до площади Тевелева, прямо на пушке!

Теперь уже не будет никогда комендантского часа, не будут никого казнить, люди перестанут бояться друг друга, теперь погнали немцев! И я скоро пойду в школу и буду учиться! А главное — теперь мой папа сможет нам наконец-то прислать письмо! Ведь теперь вся страна будет знать, что Харьков освобожден!

Первого сентября 1943 года я пошла в школу. Ровно за неделю школу почистили, вымыли, сформировали классы. Парт не было, досок не было, книжек и тетрадей не было, мела не было, а учеба началась!

Это была украинская школа. Ближайшая русская школа находилась от нас за четыре квартала. А эта, № 6,— во дворе, прямо под балконом. И мы с мамой решили, что я буду учиться в украинской. Все предметы велись на украинском языке. На первых порах я вообще ничего не понимала. Про что говорит учительница? Многие украинские слова вызывали в классе дружный смех. А потом, со временем, мы разобрались и полюбили язык. Требования и правила в школах тогда еще были нестроги. И уроки я готовила очень редко или вообще не готовила.

Моя мама устроилась в кинотеатр имени Дзержинского — работать ведущей "джаз-оркестра», который играл публике перед сеансом. И я после школы — в кино. С собой проводила по полкласса. Фильмов было мало. Их так подолгу «крутили», что, бывало, один и тот же фильм смотрели мы раз по пятьдесят! Сколько раз я видела фильмы «Аринка», «Иван Грозный»,

«Истребители», «Два бойца» и, конечно, „Большой вальс»! Вот откуда тетя Валя напевала свои вальсы!

Во всех фильмах я знала не только все песни, не только все диалоги, от «гм» до «апчхи» — я знала всю закадровую музыку. Она ночами звучала в ушах. Я ворочалась, я не могла заснуть... Ну как можно спать после «Большого вальса»?

Первый раз после этого фильма я поняла, что мама права, когда говорила папе, что «Люся девочка некрасивая». Да, она права. Все так. Карла Доннер мне показалась такой чудесной! Я поняла несовместимость своих «полетов» и реального отражения в зеркале. На время я даже перестала подходить к нашему волнистому зеркалу. Мне было достаточно того, что у меня пело все внутри. Я переносилась в атмосферу вальса, оркестра, скрипок, я была влюблена в «красивого чернявого орла» Штрауса, танцевала с ним в белой шляпе и пела высоким голосом Карлы Доннер...

На уроках класс хохотал, а потом дружно все замирали, глядя на меня. Я просыпалась. «Что случилось? Почему смотрят все на меня?» Доносился голос учительницы: «Гурчэнко! А ну выйдить з класу. Там у коридори соби и доспиваетэ. Шо воно такэ? Стрыбае, спивае...» Я пела... А я и не почувствовала...

И где-то глубоко в душе таилась надежда, что еще что-то со мной произойдет, я еще изменюсь, похорошею. Ведь я еще не такая большая.,. Я не буду такой красивой, как Карла Доннер. Это уж точно. Но я буду красивой, обязательно. По-своему.

Дома меня вообще теперь не бывало. Ведь началась новая жизнь. Нет немцев. Никого не боюсь. Я должна была «схватить» все радости. И кино, и джаз-оркестр, и нужно уже «выступать» самой. Пора! Но где? Самодеятельности в школе еще не было. А меня распирало, подхлестывало, особенно после очередного фильма. Люди работают, а я гибну, пропадаю. Проходит же время...

Большой госпиталь расположился на Рымарской в помещении бывшего монастыря. Этот монастырь был давно уже мной изучен вдоль и поперек. Знала я здесь все выходы и входы. У меня даже сохранились монастырские трофеи: бронзовая тесьма с кисточками — я ее надевала на лоб, когда танцевала индийский танец из кинофильма «Индийская гробница».

Я пробралась в госпиталь. И очень скоро я не могла жить, если после школы хоть на часок не забегу в «свои» палаты. Меня ждали раненые. Я им пела, рассказывала о том, что происходит в городе, выполняла мелкие поручения, веселила их. Самое главное — знать вкусы, желания и мечты «своей публики». Мои раненые любили песни патриотические, о любви, шуточные. Так я и

строила свой репертуар. Меня совершенно не смущало то, что не было аккомпанемента. Да я привыкла без него! Шли в ход руки, ноги, глаза, плечи. Вот где работала фантазия!!!

С большим подъемом проходила песня о ленинградском рабочем-гармонисте.

В бою навылет раненный,
Скомандовал: «Вперед!»...

Потихоньку из соседних келий-палат выходили раненые, вслушивались в песню, вглядывались в меня. А я пела и видела своего папу-гармониста на фронте с баяном... Нянечки и сестры с грелками и бинтами тоже останавливались, все смотрели и прислушивались. Середины песни не помню. Но в конце кто-спрашивает у героя-гармониста:" Откуда ты, отчаянный, - он ласково спросил".

И с беспредельной гордостью
Ответил гармонист:
С Васильевского острова,
С завода «Металлист».
С завода «Ме-е-е-таллист»!

Плакали раненые, плакали старенькие нянечки... Но больше всех в песне нуждались те, кто был ранен тяжело. В эти особые палаты ходить не позволялось. Только если разрешит врач или позовет сама сестра. Войду в такую палату. Коек мало. Особенно тихо, особенно чисто, всегда цветы. Все молчат. И я молчу, боюсь нарушить эту тишину. А потом откуда-то из бинтов еле слышное: «Девочка, что-нибудь боевое спой...» — «Сейчас спою...»

Ордена недаром
Да нам страна вручила.
Помнит это каждый наш боец...

А в палату для выздоравливающих я иногда, чтобы их взбодрить, входила с шиком: «Та, чево там!» Как Петер. Тоже имела успех. Сначала все вздрагивали, а потом смеялись и тут же подхватывали веселую интонацию, по которой соскучились. И шли песни о любви:

Ах, Нина-Ниношка,

Моя блондиношка,
Подруга юности, ты вспомни обо мне.
Моя любимая, незаменимая.
Подруга нежная,
Товарищ по войне...

О любви я пела и шепелявила с особенным подъемом. О любви я знала наибольшее количество песен. Иногда, в разгар исполнения песен о любви, какой-нибудь молодой раненый как бы невзначай кидал мне вопрос:

— У тебя мама есть?

— Есть.

— А сколько ей лет?

— Ей? Сейчас скажу. По-моему, двадцать четыре года... — специально врала я.

— Ух ты, какая молодая. Ты ее приведи, а?

— Ясно. Я с ней поговорю...

Бедная моя мама! Если бы она все это знала...

Популярны были песни о любви матери к сыну. Их просили спеть самые молодые раненые, почти мальчики. Те, у которых еще не было невест.

Спит деревушка, только старушка
Ждет — не дождется сынка.
Старой не спится, тонкие спицы
Тихо дрожат в руках.

А когда сын приезжает к ней на побывку, старушка

Взглянет на сына разок-другой,
Летная куртка и бровь дугой.
Ты улыбнешься, к сыну прижмешься.
Не пропадет, мол, такой.

А в конце могли идти и «Чубчик», и «Бирюзовые, золоты колечики»... Я пела что просили. Я хотела, чтобы все улыбались и были счастливыми. И в самом конце моего выступления уже можно было себе позволить все: и «та, чево там!», и спеть что-нибудь такое «залихватское», чтобы вставить в финале папину «чечеточку» и мое эффектное, убивающее наповал «х-х-ха!!!»

После выступления меня одаривали и раненые и нянечки вкусными вещами. С едой по-прежнему было очень тяжело.

Я шла домой усталая. Мне нравилось уставать от выступления. Я чувствовала себя актрисой, которая всю себя отдает людям — без остатка. «Только так можно жить. Только так!».

Успех был, что там говорить. Надо смотреть правде в глаза, чего уж...

# ВЫСШЕЕ ЧУВСТВО

Новое, неосознанное чувство начинало во мне рождаться именно тогда, в годы войны, когда я пела в госпитале. Я точно знала, что это чувство связано со словом «любовь». «Это — любовь». Но к чему? К кому? Номером один для меня была любовь к папе. Для нее самое большое место в сердце. Она не может смешиваться с другой любовью.

Любовь номер два — любовь к музыке, к кино, к профессии. А какая же еще любовь? Мои увлечения мальчиками и подружками? Нет, это не то... Эта новая любовь, новое чувство начинало постепенно вытеснять все остальные и становиться рядом номером один — с любовью к папе. А потом я уже не могла понять, где «любовь к папе», а где «это»? Что же это за мучительное чувство? Ну почему же, когда я пою:

И с беспредельной гордостью
Ответил гармонист:
С Васильевского острова,
С завода «Металлист», —

я плачу и ставлю себя на место гармониста, и уже я сама переполняюсь беспредельной гордостью, а она передается слушателям?.. Почему, когда я пою:

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны... —

хочу любимому измученному Харькову довоенных счастливых дней, готова отдать все, чтобы защищать его, чтобы мой город зеленел среди весны?..

Даже за лирическими песнями:

Подарила платочек прекрасный,
Ты такого нигде не найдешь,
Эх, платочек, ты шелковый красный,
Ты со мною по фронту пройдешь... —

пою и вижу бой. Убит знаменосец с красным флагом, но флаг нужен, без флага нельзя... и боец, весь израненный, поднимается и ведет в бой остальных! А в руке у него, как знамя, красный

шелковый подаренный платочек. Вот и «прошел по фронту» платочек.

Это «чувство», эта непонятная мучительная любовь уводила, уносила меня высоко-высоко. Я бывала под гипнозом «этого» чувства.

Теперь я знаю, как «это» чувство формулируется. Я знаю, что это за любовь. Это — любовь к Родине! Да, вот так просто. Просто и сложно. Так просто и так сложно, радостно и болезненно располагается она в сердце.

«Это» мне подарил мой папа! Этим чувством он был пронизан насквозь. Он этого и не осознавал. Он весь состоял из этого.

Он любил землю. В самом прямом значении слова «земля». Не вообще вселенную, а ту землю, по которой ходим. Он брал ее в руки, пересыпал, целовал ее: «Ах ж, моя земелька дорогенькая... Тужилася, кормилица, тужилася... и якеи мне цветики подарила», —так он разговаривал с землей, когда под окном у нас выросли розы необыкновенной красоты. Но все цветы — розы, сирень, ландыш, даже березку — он называл одинаково: «цветики». «Пей водичку, земелька... попей, детка...» Я всегда любила смотреть, когда он разговаривал с землей, с цветиками, придумывал им все новые и новые ласковые слова...

Папа любил пение русских хоров. После войны, когда немного пришли в себя, папа взял меня на выступление хора имени Пятницкого. Я не знала, куда мне смотреть, на сцену или на папу. Он слушал с восторгом, со слезами. Громко аплодировал, оглядываясь на публику, призывая ее еще более восторженно приветствовать хор.

— Во, дочурочка, як поють вольно! Голос летить уверх, не застреваить... Горло не зажимають, як у нас ув опири харькивский. Усе влыбаются, довольные... Эх, птичка моя, як поють!

Как истинно русский человек, он «жалел» людей. Я не помню, чтобы его не любили. О врагах не могло быть и речи. Людям он прощал и мелкие грехи и крупные, и мама его так и не смогла переделать — ни в чем. Он мог шутить, но обидеть человека — не помню. Шутки, конечно, были своеобразные, «личные». Папа мог то «кровенного», который отказался выпить с «братвой» «за честь, за дружбу», привязать и напоить. В общем, разное бывало, особенно до войны, когда «быв ще молодой» (сорок два года). Обижал только маму — «Ну, ето дело святое. Штоб свое место знала...»

Когда папа и мама переехали ко мне в Москву, вскоре, если он выходил во двор, к нему со всех балконов и окон слетались все голуби и сопровождали его до самого парадного. А пока папа

поднимался на лифте на пятый этаж, голуби уже сидели на балконе и ждали. Они свободно и беспрепятственно ходили по квартире. Всюду валялись перья, крошки хлеба, зерна...

— Мам! Когда он успел, вы же недавно здесь...

— Что ты, он так обрадовался, что во дворе голуби. В Харькове он все ходил на площадь Тевелева, кормил голубей, хотел приручить. Всю жизнь — кошки, собаки, голуби. Ой, что за человек...

Мы боялись заикнуться, что от голубей только грязь. «Якая грязь? А ты — хозяйка, возьми сама и вбери ету грязь (тут он букву «г» произносил твердо). Ето птица божеская...»

Когда в восьмом классе я учила из «Мертвых душ» «Тройку», — что было с папой! «Ах, ты ж, мамыньки родныи... Якой исключительно русской души етый Гогаль. Бьет наповал...» И я ему еще и еще раз читала: «Эх, тройка! Птица-тройка! Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разлеглась на полсвета...» Он сидел на нашей кровати с шариками, держал в руках «Гоголя», весь светился. И мне казалось, что он делался выше, шире, еще могучее — как вся русская земля, а он горд, что родился и живет на этой земле. "Вот ето талант! Пишить просто, а душу жметь... Эх ты, Гогаль...»

После войны не было ни одного концерта, где бы артист, пионер, ремесленник не читал «Василия Теркина». Папа, в ожидании своей работы, сидел за кулисами, положив подбородок на баян, сосредоточенно слушал Твардовского... «Пап, ты уже должен наизусть это знать. Все реагируют, смеются, а ты сидишь такой грустный! Пап...» — «Ето великая вещь, дочурка. Ето настыящая правда про нашего брата-фронтовика...»

Когда папа смотрел военный фильм или фронтовую хронику, он сидел, вытянувшись к экрану, в напряжении все полтора часа. На других картинах смотрел по сторонам, ждал скорее надписи «конец фильма», раздражался: «Лель, чего они смеются, а? Ну, ничёгинька смешнога, а? Лель!» — «Потом расскажу — дома. Подожди ты, Марк...»

Мама злилась, что он ей не дал спокойно посмотреть картину, все время давил ей колено. Ну и что же, что давил? Что она, не привыкла, что ли? Всегда папа, если мы в кино или в театре, или в темном месте — мне моргнет, а маму — за колено. Ну и что? Ведь он же ее любит... Тогда он доволен: «уся семья у кучки» — и он, и мама, и колено, и дочурка... Да еще и кино...

Но если это было «оборонное» (военное) кино — тут уже никого не существовало. Он входил в эхран, в бой, в атаку, на его лице можно было прочесть всё: кто кого побеждает, где враг, где

горе, где победа. «А победа будить, мы усех на лупаты положим... Русский брат — он терпить-терпить, а потом я-ак вжарить. Та что там говорить— усе за Родину пойдем... да я первый...»

Это чувство живет со мной постоянно. Я о нем не думаю. Оно само напоминает о себе, проявляется неожиданно в самые трудные минуты, когда, кажется, вот-вот потеряешь силы, надежду... Оно становится рядом с тобой, вливает в тебя свою могучую силу. И опять твердо стоишь на земле.

В 1972 году я была с группой кинематографистов в туристической поездке по Италии — Сорренто, Капри, Неаполь, Рим. Был уже конец поездки. Мы возвращались в Рим, оттуда в Москву. Мы ехали в большом мягком автобусе. За окном, по обе стороны трассы, рос мелкий кустарник. Было начало октября. Трасса называлась «Солнечной», а день был пасмурный, накрапывал дождь. Шофер-итальянец, чтобы нас развлечь, повернул к себе микрофон и запел «Санта-Лючия» — русские, мол, эту-то знают... Он пел и вопросительно поглядывал на нас в зеркало — почему нет никакой реакции. Он не знал, что это кинематографисты...

В это время у меня был один из самых безнадежных периодов в жизни. Не было интересной работы, я цеплялась за малейшую возможность — только бы действовать. Плохо было и в личной жизни.

Я сидела, погруженная в свои мрачные мысли. Дождь, серость за окном еще больше давили на душу. И вдруг я встала. Почему? Я и не думала вставать... Куда идти? Что я буду сейчас делать? Почему я взяла смелость обратить на себя внимание?

Меня подняла какая-то сверхсила. Я опять была под гипнозом, как в детстве, тогда, в госпитале. Я подошла к водителю, попросила у него микрофон. Я уже ни на кого не смотрела, только на скучный серый пейзаж «Солнечной» трассы.

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок,
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами совсем не знаком
И далеко отсюда мой дом...

Члены делегации кинематографистов смотрели на меня

новым, заинтересованным глазом: что-то мы в ней просмотрели, что-то она так «заглохла», не снимается... Нет, нет, что-то в ней «свое» есть...

Вася Шукшин смотрел на меня повлажневшими глазами. Он как будто стал красивее, шире, могучее. Смотрел на меня прямо, вглубь... Первый раз за всю поездку мы услышали его голос. Он сказал громко:

— Люся, спой ту, которую ты пела по телевизору... знаешь, какую?

— А-а? конечно:

Тропинка узенькая вьется
Через сугробы вдоль плетня.
Я прохожу, а у колодца —
Судачат бабы про меня.
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется,
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется...

Это чувство наиболее остро проявляется за границей. Твой дом, твоя земля, твоя Родина — остались там. А ты здесь. И если в тебе самом нет этого чувства, нет этой силы, которая дает тебе опору, то тогда ты — один, беззащитен, раним, проваливаешься. И спотыкаешься, становишься похож на дом без фундамента...

Фестиваль в Каннах — это самый представительный фестиваль в Европе. На просмотрах фильмов все в бабочках, смокингах, роскошных вечерних туалетах. Атмосфера оживленная, приподнятая, праздничная.

Здесь надо уметь выдерживать на лице постоянное гиперболизированное внимание, уметь восхищаться всем и всеми и проявлять бурное веселье по каждому незначительному поводу.

Это можно выдержать ну десять, ну тридцать минут. Но не с утра до ночи и не с ночи до утра. Что за люди! Ну врут же друг другу в глаза! Все же это понимают и все же очень довольны собой и друг другом.

В общем, я скоро сникла, устала. Пойду в номер к себе, отдышусь, полежу, наберусь сил - и опять с самой неотразимой улыбкой, на которую только способна, спускаюсь в бурлящую и искрящуюся толпу! А внутри так все и воет, как «скорая помощь»: «о-о-о-о!» А ведь прошло только два дня в Каннах. Дома люди ведь и не поверят, если вот так, честно, рассказать. «Канны! Париж!» А она — «о-о-о-о»... Подумаешь!..

С утра на фестивале уже шла бурная работа. Около отеля

«Карлтон» — в кафе на улице, напротив моря — давали интервью, пили, общались, смеялись, фотографировались; члены нашей делегации перед фильмами давали интервью. Андрей Михалков-Кончаловский — о конкурсном фильме «Сибириада».

Никита Михалков был на фестивале представлен и как режиссер с внеконкурсным фильмом «Пять вечеров», и как актер, исполнитель большой роли в фильме "Сибириада». Так что он работал за двоих. А мы с молодой актрисой Наташей Андрейченко фотографировались перед вечерней премьерой «Сибириады».

Фотографировала нас женщина-фотограф из журнала «Пари-матч» — по имени Шанс. Она русского происхождения, бабушка у нее русская... Шанс неплохо говорила по-русски. Она была в Москве в 1969 году. Ей не понравилось: русские какие-то мрачные... никто не смеется... «Ну что вы, Шанс... Это вы близко не общались с нашими людьми. Ого! Еще как веселятся и смеются».

— Не говорите мне... Я видела, а вы!.. Почему тогда вы не смеетесь? Вот смотрите — все улыбаются, а вы нет...

Наташа Андрейченко испуганно посмотрела на меня и, напрягшись, неестественно хихикнула. А потом рассердилась на себя и нахмурилась...

— Шанс, а с чего смеяться? — А в голове пронеслась папина фраза: «Лель, а чего они смеются? Ведь ничегинька смешнога...»—Мы тут еще никого не знаем», будет повод — посмеемся...

— Вот, посмотрите. Даже старушка и та смеется... — Шанс явно над нами издевалась. У меня внутри «пошло». Я оглянулась. В кресле сидела старушка с дрожащей головой, в кружевах и камеях. Красиво... На голове рыжие волосы «пух-перо», сквозь них светилась голая голова. Мутные глаза с длинными ресницами. Две белые обнаженные вставные челюсти говорили о том, что она действительно улыбалась: она тоже была здесь, она тоже на фестивале, она еще жива, она в гуще событий...

— Шанс, когда нам будет по девяносто лет, мы тоже будем улыбаться, — сказала я зло.

Интерес к фильму «Сибириада» большой. Народу полно.

Да... И меха, и бриллианты, и бабочки, и смокинги, звезды и звездочки...И смешанный запах лучших французских духов.

И как будто с другой планеты, из другого мира, полилась с экрана грустная русская песня... И я перестала волноваться, суетиться, улыбаться без причины. Стала спокойной и сильной.

На фестивале нравы жестокие. Не нравится картина — хлоп креслом — и уходи. Кто как хочет, так и поступает... Никого не

интересует, что автор фильма сидит в зале. Наш фильм идет три с половиной часа, а это для французской публики много. Михалков-Кончаловский попросил сделать между первой и второй частью фильма перерыв на пять минут. «Это необходимо. Они не высидят без перерыва. Перерыв необходим, я знаю», — сказал он.

Этого перерыва мы боялись. А вдруг уйдут и не придут? Эти пять минут казались вечностью. Мы смотрели на пустые кресла, боялись взглянуть друг другу в лицо... Все думали об одном и том же...

Вернулись все! Мы вздохнули, и картина пошла «набирать»...

Уже до финала были аплодисменты, а перед концом картины и после нее не смолкали и превратились в «скандеж» — как на концерте. И «браво», «браво", «браво»...

Мы кланялись вперед, назад, влево, вправо. Никто не уходил, и мы стояли и кланялись, кланялись. А потом стали обнимать и целовать друг друга...

Эмигранты кричали по-русски: «Мо-лод-цы| Мо-лод-цы! Людочка! Мы так счастливы за н а с!» За кого за «нас»? Им так хотелось быть с нами, ну хоть бы около нас.

Мы плакали от радости. Смешались звания, регалии, титулы, посты — мы были небольшим мощным русским островком на прекрасной французской земле. Она нас приняла, она почувствовала нашу силу, на ней запахло Русью...

Мы шли вниз по лестнице в сопровождении толпы. Все улыбались искренне и очень старались понять, рассмотреть — что же это за русские, что же это за загадочная русская душа. В конкурсных картинах других стран на экране — крах, апокалипсис, разрушение, а тут, в «Сибириаде», у русских, все наоборот: вот тебе из тьмы-тьмущей эти люди поднимаются, строят, воюют, побеждают, преодолевают, перевыполняют, горят и не сгорают...

Навстречу подбегали фоторепортеры, прорываясь сквозь кордон людей в униформе. И вспышки, вспышки...

Шанс приблизилась к нам, но фотоаппарат дрожал в ее руках. Она вытирала глаза большим шейным платком фирмы «Ив Сен-Лоран» — ее любимой фирмы, у которой она одевалась (это она нам утром сообщила).

— Ну, Шанс, что же вы не смеетесь? Ну что же вы такая грустная?

— Наташа, Людмила, я так плякала. Это так хорошо... я не зналя.

И Наташа Андрейченко, которая только что плакала, — и я ее за эти слезы еще больше полюбила, — как «залилась» вдруг.

Басом, громко, заразительно… На весь город Канны!

# ПИСЬМО ОТ ПАПЫ

От папы пришло письмо! Треугольное, солдатское. Папа его прислал на старый адрес. Но нас нашли. И вот какая радость!

— Люся! От папы! Скорее... Валя! От Марка!

Мама торопливо раскрыла треугольник: «Здравствуйте, дорогие дочурка Людмилка и жена Елена Ал.!» Никогда папы не хватало на то, чтобы полностью написать «Александровна» — он спешил вперед, «дальший». «Елена Ал.» — и все. — Пишить вам ваш любимый муж и отец Марк Гаврилович Гурченко. Во первых строках своего письма сообщаю вам, что я живой и здоровый, чего и вам желаю от чистага сердца, с честью служу и защищаю Родину, имею две грамоты. Медали ще нема, но будить ув обязательном порядке. Леля! Детка моя дорогая. Обращаюсь до тебя. Ты мне усе ночи очень подозрительно снисся. Смотри, не сделай, будь ласка, якого ляпсуса. Корочий. Если я приеду з войны и мне скажуть люди, что в тебя хто-та быв... Ну, Лялюша, ты меня знаешь... Пять братов свинцом налиты — смертю пахнуть. Пиши пропало...»

— Уйди... Уйди! Ты слышишь, что я сказала?

— Мам! А что там про меня?

Она меня ударила и с перекошенным лицом выскочила из комнаты. «Ну все! Приедет папа — я ему все расскажу. Мой папочка письмо прислал, а она...»

Папа писал письма всегда одинаково. Вначале сдержанно, «по протоколу», потом спешил «дальший»! И изливал на бумаге свой бурный, нелогичный и темпераментный строй мыслей без точек и запятых — только одни восклицательные знаки и многоточия...

Мама плакала у тети Вали. А я сидела на корточках в коридоре и подслушивала. Это было «мое» место. Оттуда хорошо слышно.

— Леля! На черта он тебе нужен! Старый хрыч! Нет! Я бы такого не вынесла — это не на мой характер. Что вы! Товарищи! Чтобы мне угрожали? Новое дело! Леля! Ты же еще совсем молодая, красивая, здоровая. Да еще встретишь в жизни человека...

Ишь, что говорит тетя Валя... «Старый хрыч», «найдешь другого»... Это влияние на маму мне не нравится, надо будет их как-нибудь рассорить...

— Да нет, Валя, ты его совсем не знаешь... да и я сама его не знаю. Он такой ... разный, очень разный. Жаль, что ты его не знаешь.

— Перестань, Леля! написать в письме такое... Хо-хо! Кому

прочесть письмо... Товарищи, да он ненормальный! Лучше бы денег прислал ипи посылку. Кормлец, муж называется...

— Ну-у... это ты его не знаешь. Это-то он пришлет. Очень жаль, что ты не видела. Он и не старый. Он очень, очень ничего. Марк красивый.

«Ну, мамочка, ну родненькая, говори, говори еще так про папу!»

— Эх, Леля! Ты ведь вообще кроме него никого не встречала...

— Нет, Валя, это не то. Я понимаю, о чем ты говоришь... Это не то Он меня поразил искренностью, размахом. Он человек странный, — мама стала тихо и нежно смеяться, — он так за мной ухаживал...

Я, затаив дыхание, слушала в коридоре, как мама рассказывала тете Вале про папу, Я точно помню, это было первый раз в жизни — мама так долго, нежно и откровенно говорила про папу.

Я помню какие-то яркие детали маминого рассказа. И только потом, со временем, у меня выстроилась история их необыкновенной любви.

После первого папиного письма я стала следить и «изучать» свою маму. Что же она при мне так ругает папу? А без меня так тепло, нежно, с любовью говорит о нем. Нет! Не знаю я своей мамы.

# СИМАНОВЩИНА

Мамину семью Симоновых папа называл «симановщиной».

Симоновы жили в Москве. Мамин папа, мой дедушка, Александр Прокофьевич Симонов, был директором одной из московских гимназий. Бабушка, Татьяна Ивановна, родом из «столбовых дворян», родила дедушке восьмерых детей. У меня шестеро дядей: Владимир, Сергей, Юрий, Борис, Александр и Константин. И одна тетя, мамина младшая сестра, Лида. До революции они жили в собственном доме на нынешней улице Огарева. Революции дедушка «не принял». А бабушка говорила: «Неужто ты — Симонов — будешь мужичонков обучать?! Не бывать этому». И всей семьей они уехали под Смоленск в свое имение, село Барадуличи.Там они вели хозяйство и ждали «перемен». Пережидали. Там мама пошла в школу. Она очень любила своего отца. Он учил маму красиво и грамотно писать. Сам прекрасно пел и был расстроен, что мама поет «нечисто». Так они жили, пока маме не исполнилось восемь лет. В школе мама была первой по успеваемости.

Но однажды к ней перед началом уроков подошла учительница. «Погладила меня по голове и сказала, чтобы я шла домой и без матери в школу не приходила. Так странно... Мама никогда в школе не была, всегда папа», — рассказывала мама.

Дедушку выслали в Сибирь. Имущество и дом конфисковали. Кое-какие ценные вещи дедушка увез с собой в надежде, что когда он устроится, то бабушку и девочек заберет к себе. Мальчики уже подросли — кто работал, кто учился в других городах.

Но переехать к дедушке не пришлось. Он влюбился в какую-то женщину, она все «прибрала» к рукам. А когда дедушка опомнился, бабушка ему не простила. Как она страдала и переносила свое горе — никто не знал и не видел.Она была твердой, жесткой и очень гордой.

Бабушка с мамой и Лидой переехали в Харьков, чтобы быть поближе к дяде Сереже, который работал инженером на железной дороге.

Профессии у бабушки не было. Она была только хозяйкой дома и имения и матерью восьмерых детей.

Они снимали маленькую комнатку в небольшом частном домике на окраине Харькова, в районе Холодной горы. Бабушка стала работать уборщицей на харьковском велосипедном заводе. От прежней бабушкиной обстановки осталось несколько медных тазов для варенья с длинными деревянными ручками, иконы, большой письменный стол с малахитовым чернильным прибором,

огромная линейка и старинная гитара с выцветшим бантом, на которой раньше играл дедушка.

Дедушку я видела всего один раз. Он приезжал в Харьков навестить своих детей. Я уже училась в девятом классе. А маме было тридцать пять лет. Дедушка оказался старый, располневший, борода расчесана на две стороны. Я ему пела. Он был доволен. Сказал, что музыкальность передается чаще всего через поколение и что, возможно, у моих детей не будет такой музыкальности. Как будто в воду глядел - так оно и есть.

А бабушка стояла все время в углу, за его спиной. Эта встреча состоялась в той маленькой комнатке, где жили Лида и бабушка. Дедушка первый раз видел свою бывшую жену и детей в такой обстановке. А моя мама говорила: «Я так любила отца. Но я его помнила таким, каким он был тогда. А когда мы встретились, я даже не заплакала. Я почувствовала, что нам ведь и говорить-то не о чем...»

Бабушка, Татьяна Ивановна, была очень степенной, расчетливой и очень набожной. Дети называли ее на «вы»... Так странно — мама и «вы». Детей держали в строгости. Кушать только за столом. За жевание между завтраком и обедом — наказание. Наказание за малейшую провинность. Одежда ежедневная — одежда «по праздникам». Посуда «на каждый день» — посуда для гостей. Еда простая и еда необыкновенная — для гостей. А в сундуках, в нафталине складывались отрезы, меха, шубы. В погребе — окорока, варенья, колбасы, мед. Все лучшее пряталось «на потом», «на вырост", «на выход». Мама говорила: «Мы ждали праздников, как манны небесной».

А потом — бабушка работает уборщицей. Мама и Лида ходят в школу. Зарплата маленькая, на троих не хватает. Все «с выдачи», во всем строжайшая экономия. У моей мамы одно пальто — «ув красную клетку... ходить, бувало, у самый мороз в нем...» Одна юбка... одна кофта... Все перешитое из бабушкиных «бывших нарядов». Все разрозненно, серо, однообразно.

И вот в эту скучную мамину жизнь ворвался мой папа! Об этом в нашей семье ходят легенды. Рассказывают все: мама, папа, бабушка, тетя Лида. Все разное и по-разному, но сходятся на одном: «Ну и Марк Гаврилович!»

Когда папа появился со своим баяном в маминой школе, мама училась в девятом все. Он ее сразу заприметил: «Здоровая, крепкая, цыцохи большие, глаза приятные". Но всем рассказывал, что «она сразу у меня улюбилася... ну, правда, Леля девка була... та што там говорить... ей усе двадцать можно було дать». И начал папа кормить весь мамин комсомольский комитет... «Бувало, дождуся, пока Леля — комсомольский секретарь усей школы! ето

ж якая величина! — дождуся, пока она проведеть свое бюро. Я и говорю етому бюро: «Девки! А ну, идем усе разом у буфет...» Приметив я, что Леля у буфет не заходить никогда... в углу бувало, стоить и хлеб черный есть... а меня як увидить, покраснеить и убежить. Долго меня стеснялася, Э-э, думаю, хороший работник пропадаить. Умная була, грамотно так говорить, боевито... Словом, надо, думаю, подсобить, подкормить. Усех ее подруг кормив, чтоб и она подпиталася... Мало-помалу стала до меня звыкать. Так вежливо всегда поблагодарить. А подружки те — усе до меня наперебой: «дядя Гриша, дядя Гриша...» Не-е, у меня нащет Лели у голове ничего «такого» не було, боже меня упаси! Я ее жалев. Она помощь у работе мне сказувала, детей организовувала. Вот... «Это» вже потом да я этого и не хотев... Да-а... Училася Леля, да што там — на одни пятерки. Усем пример, одним словом. И вокурат ее, и еще там девчат з комитета, премирували путевками в дом отдыха на лето у Чугуев... И меня з ими, штоб играть отдыхающим".

«Он такой странный человек, Марк... хи-хи-хи. Идем с ним — я с Тамарой, моей школьной подругой, и Марк с нами, вдвоем мы с ним не ходили. Он вдруг как побелеет, зубами скрипит — глаза страшные. Мы испугались...»

«Тамара до меня: «Что с вами, дядя Гриша?» Какой я тебе дядя Гриша? Был дядя Гриша и нема! В меня имя — Марк. Поняла?! Добром тебя прошу, Тамара, уйди з глаз, будь ласка, подобру-поздорову...» "Тамара так испугалась, убежала. Мы стоим вдвоем, народу почти никого, страшно... Всегда такой добрый, веселый — а тут стал такой опасный... Таким я его не видела и не представляла. Говорит: «Я тебя, Леличка, люблю... и, корочий, давай уместе жить, больший терпеть не могу. Буду, Леличка, усю жисть тебе служить верую и правдую».

«Никогда я тебе, крошка моя, етого не говорив. Чтоб Марк Гаврилович так говорив? Да я благородный человек, ты сама за мною ходила услед...» — отвечал папа моей маме через тридцать лет.

«Значит, я вру? Значит, ты этого «не говорив»? Тогда зачем ты свой пиджак топтал в песке и рубашку разорвал в клочья? А? Или этого тоже не было? Ну!»

«Не, это було... что було, то було. Я человек честный. Я до тебя по ласке, з усею душою... а ты надо мною смеялася! Як же мне було? Тебя бить? Ще рано, ще ты мне не жена... ну, я и давай себя рвать на куски...»

Это так похоже на моего папу... Сначала признался в любви, а потом ему показалось, что он «дал слабину». Мама от неожиданности его «предложения» рассмеялась, и папочка мой

«пош-шел».

«Знаешь, Валя, может, тогда и надо было мне от него отойти, но куда? У мамы такой мрак. А ко мне никто в жизни так не относился, я уже привыкла, что есть Марк. Потом изучила его характер, обходила углы, чуяла, откуда ветер. Всю жизнь, как на бочке с порохом. А мама с Лидой еще ничего тогда не знали. Потом узнали... в школу ходить перестала...»

«Мы с бабушкой Таней узнаем, что наша Леля в Чугуеве вышла замуж! — рассказывала тетя Лида. — Наша Леля замуж! Бабушка Таня об этом слышать не хотела: «Какой-то подличуга, провокатор, какой-то недоброкачественный мужичонка хочет увести нашу Лелю! Не бывать этому!» А я Лельку боялась — она меня линейкой так била. У меня выпытывала все — что у нас дома... А Марка я любила, храпчика нашего... Сколько он мне конфет покупал, объедалась, а дома бабушка не знала, что я у Лели бываю. И я, понимаешь, ребенок, все рассказала Леле и Марку...»

Тетя Лида рассказала папе, что бабушка с сыновьями придут «забирать Лелю».

Поэтому папа их поджидал. Но бабушка не пришла. Это она считала ниже своего достоинства. Она все поручила своим сыновьям.

«Я усе зделав честь по чести. Стол накрыв, словом, як будущих родичей жду. Идуть... Увидели стол и осеклися. И Леля стоить влыбается — нема к чему придраться. Сели за стол. Я Лелю з собою усадив... Ну, значала усе було, як положено. Браты эти пьють, едять, разговаривають, а на меня никакого внимания, и близко не смотрят. Ну, думаю, держися, Марк. А як подвыпили, тут они и давай мне уколы вставлять. Что мы з Лелею не пара, что она ще молодая и... поехали, дальший и дальший. А потом мне етый... ну, Борис, говорить: «Вы поймите, уважаемый, вы не того поля ягода". Это я, значить, не з ихнего. Тут на мне усе затрусилося, у глазах враз темно. Но я точно поняв, что справлюся з усеми. Уся эта симановщина росточка небольшого. Для начала я перевернув стол, взял момент. А браты, пока что да як, — глазами блы-блысь — я одного по башловке, другого выспитком, третьего по загривку — знай Марка, симановщина! Я когда рассержуся — о-о! Тогда мне хоп хрен по деревне, ничегинька не боюся... режь-жги меня, ничего не чую — лезу уперед! Да-а... А четвертого нема... Больше усех говорив, и нема... Эта ж симановщина только на язык остра, а як до дела... та что там говорить. Одним словом, атбайлы... Леля з Лидкой плачуть — не бей Бориса. А Борис етый в шкафе сидить. Вылазь, говорю, не бойсь. Вылезаеть, весь белый, як мел. «Вы нас, — говорить, —

Марк Гаврилович, пра-астите, если что не так... мы ва-абще не против...»

Папа мог вдруг прекрасно говорит, чисто, без своего смоленско-харьковского диалекта — чуть ли не по-московски. Это — когда он изображал дядю Борю и других своих «антиподов». «Папусик, но почему ты сам так не говоришь, ты ведь умеешь?» — «Не, дочурка, ето он так говорить, а я говорю так, як я говорю...»

«Потом етый Борис мой лучий друг быв. Я его по-своему так отхристосовал, он был як шелковый, он знает, за что. Ну, а потом дело и до Лелиной мамы дошло. Пришли мы з Лелею до нее, а они жили аж на Холодной горе, это, считай, як от Смоленска до Брянского леса... Эх, думал я взять машину, подкатить — мол, во як теперь ваша Леля живеть... А до них и дороги ще тогда не було, одни тропки. Заходим у двор. Леля у дорогом платтики, у шляпе—а ее мать, Татьяна Ивановна, сидить, як царица на крыльце, что-то в тазу перебирает, а в нашу сторону и не смотрит. Ну, я себе дав слово сдержуваться, что бы там ни було. Принесли з собой всего — усе, что только було у гастрономе, насилу з Лелею донесли.

Говорю: «Здравия желаем, мама».

— Какая я вам мама? Меня зовут Татьяна Ивановна Симонова.

— Не-е, — говорю, — это вы для усех Татьяна Ивановна, а по-нашему православному деревенскому закону — мама. Я вашей дочери законный муж, ваш родич, значить, выходить, что вы для меня — мама.

— Это у вас в деревне такой закон, а у нас в Москве такого закона не было...

— Не було, значить, будить, мама...

Смотрю — пошла у хату от греха подальше... Ей уже браты про меня наговорили. Да-а... И мы з Лелею за нею услед. Леля все за спиною у меня ховалася... Сидели, говорили мало-помалу, все було б ничего, но обидела она меня тогда кровно. Я долго болев душою... Говорит мне: «Вот никогда не думала, что Леля моя выйдет замуж за мужика». Да-а... Леля меня вже изучила — схватилася за меня, Лидка на спине висит, держат меня — насилу стерпел кровную обиду. Вот так, моя детка...»

Бабушкины сыновья жили в своих семьях, своей жизнью. Ближе всех к ней были тетя Лида, мама и мой папа. И больше всех своих детей и родственников бабушка любила и уважала Марка Гавриловича. «Это не какой-нибудь подличуга и провокатор, не дал ему господь образования, но человек он удивительно доброкачественный и красивый».

Придет, бывало, к нам бабушка в гости, папа ее тут же с

дороги за стол. Сядет бабушка на стул — прямая, в чеховской прическе, все чинно, с расстановкой, чай вприкуску. Для начала папа ее подпоит винцом — знал, какое она любила, и всегда держал его про запас. Она раскраснеется, сидит довольная, кокетничает: «Ну, что вы, Марк Гаврилович, меня так балуете?»

А потом чай из блюдца, а папа — молоко, потому что «чай ето вода». И начинали - про бога, про шахту, про велосипедный завод и Доску почета, где висела бабушкина фотография, про царя...

«Что вы, Марк Гаврилович, мне все нравится, я всем довольна, но если бы вы знали, как мы жили при царе. Всего вдоволь... и скотина своя, и хозяйство, и поле. Чего только у нас не было...»

-- Ну, мам, поехалы... А Марк бы при царе батраком быв... Вот он и батрачив бы на поле... Не-е, мам, давайте лучий не будем про это... Давайте, мама, лучий «за честь, за дружбу...»

# РАЙЕЛЕНОВКА

В Харьков стали возвращаться из эвакуации — и не только харьковчане, но и жители других городов. Всех надо было обеспечить жилплощадью. На остававшихся в оккупации смотрели косо.

В классе вновь прибывшие объявляли остававшимся при немцах бойкот. Я ничего не понимала. Я мучительно думала: если я столько пережила, столько видела страшного, меня, наоборот, должны понимать, пожалеть... Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали вслед: «овчарочка». «Ах, если бы они знали, что такое настоящая немецкая овчарка. Если бы они видели, как овчарка ведет прямо на смерть, прямо в душегубку... эти люди так бы не сказали... Они ничего не знают». Когда в Харькове на экране пошли фильмы и хроника, в которых показаны ужасы, казни и расправы немцев на оккупированных территориях, постепенно эта «болезнь» стала проходить, уходить в прошлое... Это был жестокий и естественный процесс.

Нам с мамой, как никогда раньше, не хватало папы, его силы, его защиты. Мы каждый вечер слушали по радио сообщения Совинформбюро. «Скоро... скоро уже вернется наш папочка».

В 1944 году в первый раз в жизни мама меня отправила в пионерлагерь. Назывался он «Райеленовка».

Райеленовка находилась в трех километрах от станции, добирались мы туда пешком. Проходили мимо поля, потом дорога сворачивала вправо, рядом с роскошным яблоневым садом, на который мы совершали налеты, и сторож стрелял в нас солью. И всю жизнь, если в разговоре или в песне идет речь о поле или яблоневом саде, я вижу только «то» поле и «тот» сад.

А на зеленой поляне стоял большой красивый корпус с колоннами и с большими причудливыми окнами. В нем мы жили. Стекол не было — окна затягивались простынями; ночью мы мерзли. Жители Райеленовки рассказывали, что это было когда-то графское имение. Был и пруд, запущенный — ил по колено, вокруг пруда росли старые пышные ивы. Купаясь в пруду, мы часто резали ноги о ржавые железки, острые осколки. А однажды всем лагерем вытащили со дна зенитку без одного колеса.

Кормили здесь четыре раза в день! Но все время хотелось есть. Сахар давали один раз — утром. Мы по своему усмотрению распределяли его на весь день. Сахар все носили с собой, никому и в голову не приходило, что сахар можно оставить на столе. До ужина сахар у меня не доживал никогда...

В пионерлагере была и музыка. Аккордеонистка Дина Печенежская, дочь папиного товарища, Андрея Степановича Печенежского, вела в лагере художественную самодеятельность.

В их доме был траур: «вторые» немцы расстреляли семнадцатилетнего Николая — любимого сына и прекрасного баяниста, который «ще ребёнком був, а вже играв, як зверь».

И теперь Дина, его сестра, тоже играла «як зверь» и разучивала со мной песни "с жестикуляцией», с увлечением проводила надо мной опыты и эксперименты.

Первым моим номером «с жестикуляцией» была песня про Витю Черевичнго — слова неизвестного автора на музыку песни Терентьева «Пусть дни проходят». Для того чтобы спеть с жестикуляцией, нужно было вместе с первыми строками

Жил в Ростове Витя Черевичный —

правую руку согнуть в локте, выбросить ее чуть в сторону; взгляд — к зрителям, сидящим справа. На вторую строчку:

В школе он отлично успевал —

все то же самое, но — в левую сторону. Дальше песня:

И в свободный час всегда обычно
Голубей любимых выпускал.

На припеве и голова, и руки постепенно устремляются к небу:

Голуби, мои вы милые,
Улетайте в облачную высь..

Дина меня наставляла:

— Люся! Во втором куплете война. Лицо жесткое, руки сжаты в кулаки, хорошо, если в глазах заблестит слеза — это всегда впечатляет. И финал — победа! Лицо радостное, торжественное! А руки —широко-широко! Как будто ты хочешь обнять мир! Ну!

Но недолго дни эти тянулись,
И, разбив фашистских подлых псов,
Красные герои к нам вернулись,
Снова стал свободным наш Ростов.

Стою на сцене и пою! Все дети на меня с интересом смотрят... А если удается плакать... Та что там говорить...

Я выступала регулярно в концертах нашего лагеря и во всех соседних, лишь бы пригласили. Путевку на первую смену мама

достала с трудом, зато путевку на вторую директор лагеря предложил мне сам — за то, что я активно участвую в самодеятельности и отстаиваю честь лагеря...

В каждой смене жгли два пионерских костра — один в начале смены, другой — на закрытие. Если в концерте на первом костре выступали кто с чем, то на закрытии целый продуманный спектакль. Я выходила на сцену два, а то и три раза — и все с новыми песнями. Тогда мы с Диной вспомнили, из довоенных песен «Эх, Андрюша". Она имело большой успех, меня даже дразнили: «Андрюша! Иди сюда...» Жизнь в лагере была прекрасной! И ем, и купаюсь, и хожу в лес, и выступаю на сцене!

Я пробыла в Райеленовке еще одну смену. Мама приезжала ко мне, привозила вкусное... А когда мы в конце лета вернулись домой, то это был уже другой дом, другая квартира. Из этой квартиры я уехала в 1953 году в Москву поступать в Институт кинематографии. Я очень люблю эту квартиру. Она самая лучшая в мире.

Когда мама привела меня в новое жилье, вид у нее был виноватый и растерянный. А мне квартира понравилась. Она напомнила мне ту нашу подвальную комнатку по Мордвиновскому переулку, где я родилась. Там прошли светлые, неповторимые дни с моим папой. А с той, другой, квартирой связано только самое горькое — война, голод, холод, немцы, страх.

— Нет, мам, эта квартира лучше! Здесь тепло и хлеб за стенкой (магазин «Хлеб» у нас действительно через стенку). Я буду самой первой занимать очередь за хлебом! Не переживай, скоро папа приедет, будет опять весело и легко... ну, мам!

Тете Вале дали комнатку в подвале на другом конце города, и постепенно мы ее потеряли из виду.

Как-то после войны она появилась у нас и попросила маму быть свидетельницей — на нее подала в суд соседка, за то, что к тете Вале ходит мужчина, а она — тетя Валя — не замужем. И как это так? Соседка этого не потерпит! У нее семья, муж. Мама рассказывала, что сильно нервничала, перед тем как ей войти в зал суда.

Я решила послушать, что там происходит, приоткрыла дверь и слышу Валин голос:

— Товарищи судьи! Ну и что же, что ко мне ходит мужчина? У нее есть муж! Да. Я не замужем. Да, мой муж — майор — геройски пал смертью храбрых, ребенок умер с голоду... Вот... Там стоит моя соседка Леля... Вызовите ее... Мы с ней страдали в войну, она подтвердит!»

Мама похолодела от ужаса. Какой муж майор? Какой ребенок

умер? Тетю Валю оправдали. Она была благодарна, что мама пришла.

— Валь! Ты хоть бы предупредила про мужа и про ребенка. А вдруг меня бы стали спрашивать? Ты что, в самом деле...

— Ах, Леля... я уж совсем ненормалес. Ты извини, сама не знаю, как это вырвалось. Как-то жаль себя стало. Мой адвокат аж подскочил после этого... Хо-хо! не ожидал. Вообще, Леля, жизнь — это импровизация, авантюра... Да я тебе уже говорила...

Тетя Валя действительно имела отношение к театру. До войны она работала в переездном областном театре... костюмером.

# МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

0сенью 1944 года в моей жизни произошло знаменательное событие — я поступила в музыкальную школу-семилетку имени Бетховена.

Папа прислал посылку, и в ней «для дочурки» была юбочка в складочку со шлейками через плечо, блестящая креп-сатиновая кофточка, рукава фонариком. Мама на меня это все надела, а на голову завязала огромный белый бант. Такую нарядную и повела меня на экзамен в музыкальную школу.

Когда мы появились, в коридоре уже было много детей и родителей. Мы спросили, кто последний, заняли очередь, и я стала изучать детей, заранее гадая, кто на что способен. Прозвенел колокольчик, и нас впустили в экзаменационный зал.

За большим столом сидели учителя во главе с директором школы Николаем Николаевичем Хлебниковым. Набирались классы по фортепьяно и класс «по охране детского голоса». В него-то я и поступала. На экзамене дети должны были:

1. Что -то спеть.
2. Повторить музыкальную фразу, которую играли на рояле.
3. Отбить в ладоши предлагаемый ритм.

Вот и все. А я так нервничала!

Но что дети пели! И «В лесу родилась елочка», и «Мы едем, едем, едем в далекие края». А некоторые были такие стеснительные и зажатые, что из них чуть ли не клещами вытягивали «Чижика-пыжика». Я ждала своей очереди. Меня бил озноб от нетерпения и возмущения. Как можно петь такую чушь? Ведь это поют в три года. Есть столько прекрасных сложных песен. В девять лет их пора бы уже знать. Мы с мамой подошли к роялю.

«Что ты нам споешь, девочка?» — «А что пожелаете. Могу спеть патриотическую, могу лирическую, о любви — какую скажете. Могу исполнить песню с жестикуляцией...» — «С чем?» — «С жестикуляцией». Все оживились. Понятно, после «Елочки" и «Чижика»! «Ну-ка, ну-ка, интересно»... Я откашлялась, как это делают профессиональные певицы, и громко объявила: «Песня с жестикуляцией про Витю Черевичного". Учителя рыдали от смеха, глядя на мою жестикуляцию. А я ни на кого не смотрела, «дула свое». А потом, не дав им опомниться, запела самую «взрослую» песню «Встретились мы в баре ресторана»: «Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь, мои прежние мечты...»

В музыкальную школу меня приняли безоговорочно. Экзамен прошел «на ура!" Но чтобы мама меня похвалила...

«Вот последнюю песню ты спела зря, Люся. Это совсем не детская песня. Надо было бы тебе это сообразить. Все шло ничего, а это зря».

«Мам, ну в школу же меня приняли? А ты видела, как все слушали? Нет, ты скажи, ты видела' Ты видела или нет? А что, петь про «чижика»? Да я, когда даже маленькая была, такого не пела».

«К сожалению, ты этого не пела. Твой папочка учил тебя по-своему. У него все не как у людей».

Моим педагогом по пению была Матильда Владимировна Тафт. Училась я у нее легко, с удовольствием. Она первая занялась моим воспитанием, моей речью. И заставила меня читать. В начале урока я рассказывала прочитанное своими словами. Два года наш урок по пению всегда начинался с этого. Мне стоило огромных усилий и напряжения следить за своей речью, чтобы не проскользнули лишние словечки — "словесный мусор».

Матильда Владимировна говорила, что песни я пеку, «как блины». Дважды она мне никогда ничего не повторяла. Я с ходу запоминала интонацию, краски, дыхание. И еще мы боролись с моей шепелявостью.

А вот по теории музыки дело у меня шло очень плохо. Во-первых, я долго учила ноты. Тут я точно пошла в папу! Тупо смотрела на доску с интервалами, на бемоли и диезы, ключи... Было ужасно скучно. Я совсем не понимала, как писать диктант нотами. Как это нотами записать мелодию? Да я лучше пропою эту мелодию!

Так же безнадежно было и с занятиями по фортепьяно. Я училась у Ольги Николаевны Хлебниковой — сестры директора музыкальной школы. Жила она на Рымарской, около сада Шевченко, вместе со своей сестрой. Им обеим было лет по семьдесят. Большая комната была перегорожена шкафами на две половины. На половине Ольги Николаевны стоял огромный, черный расстроенный рояль. Как хотелось на нем поиграть! Дома у нас инструмента не было, и я всегда приходила на занятия с невыученными уроками. Домой мне Ольга Николаевна задавала одно и то же задание и дальше Гедике и Майкапара мы не потянули.

Ольга Николаевна меня не ругала. Она понимала, что без инструмента далеко не уедешь, любила меня, поила чаем с вареньем.

Ее дочь была замужем за певцом — народным артистом СССР Гришко, и Ольга Николаевна этим обстоятельством очень гордилась. Над диваном висел портрет певца. На стенах висели

его фотографии в ролях, коричневатые овальные фото господ, одетых в старинное: мужчины в пенсне и манишках, дамы в шляпах с перьями, с голыми плечами и толстыми нитками жемчуга. Под стеклом в шкафу огромные старинные книги. Часы в углу, двухметровой высоты, били через каждые пятнадцать минут. Мне все очень нравилось у Ольги Николаевны, все у нее было так интересно!

В школе меня держали за отличную успеваемость по основному предмету. И дирекции пришлось закрыть глаза на мои хвосты. Зато, как только концерт или ответственное выступление... «У нас есть замечательная ученица, наша лучшая ученица, она обязательно у вас выступит».

«Просветления» у меня происходили всегда внезапно. Однажды, вдруг, наступила ясность, как писать нотный диктант. Чтобы проверить себя, я пошла на занятие по теории музыки. Педагог уже давно не видел меня на уроках и был удивлен моему появлению. Я написала диктант. Одна неточность, все остальное правильно! Как же я была довольна. Сообразила! Значит, не болван. Но скоро опять остыла, забросила теорию, до гармонии так и не дошла. Сейчас очень жалею об этом...

# ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК

Новый 1945 год мы с мамой встречали в ремесленном училище № 11. Одной стороной оно выходило на Клочковскую, а другой — на речку, где через мост стоит огромная Благовещенская церковь.

Ученики училища днем работали у станков, а вечером занимались в кружке художественной самодеятельности, который вела мама.

Зима сорок пятого года опять была холодной и голодной. Зарплату в училище мама получала небольшую, зато в те дни, когда у мамы были занятия кружка, мы обедали и ужинали. Я высчитывала: вторник, четверг, суббота! Во-первых, поедим, во-вторых, я присутствовала при разучивании новых песен. Большинство этих песен мы получали от папы с фронта. Он вкладывал в письмо нотную строчку и текст песни.

Мне казалось чудом, что в начале репетиции был немой листочек нот и текста — просто измятый листок, вложенный в треугольное солдатское письмо, — а к концу репетиции возникала живая песня, заставлявшая плакать. Хотелось о ней думать, фантазировать о будущем.

А какой успех имела песня, которую папа просил выделить особо: «Леля! Ета песня на фронте имеить первоклассный успех! Смотри, не проворонь вещь, приподнеси як следуить быть».

Называлась она «Два Максима». Припев этой песни я пела с утра до вечера: «Так, так, так,— говорит пулеметчик, дак-дак-дак, — говорит пулемет». Первыми песни с фронта запели в Харькове участники маминого кружка самодеятельности в ремесленном училище № 11.

А кто прислал эти песни с самого фронта, с самой передовой? Мой папа!

В кружке у мамы была одна девушка с необыкновенным голосом — чистое и прозрачное колоратурное сопрано. Она была удивительно музыкальной, а когда пела:

Ой, нэ свиты, мисяченьку,
Нэ свиты никому,
Тильки свиты мылэнькому,
Як идэ до дому, —

зал замирал от восторга. Вот она любила петь, любила зрительный зал, когда пела, была счастливой, становилась

красивой... Сейчас ее знает вся страна. Это народная артистка СССР Евгения Мирошниченко. Сейчас она поет в Киевском оперном театре...

Но я тогда была влюблена не в нее, а в Лидию Острашкову. Лида была секретарем комсомольской организации училища и всегда помогала маме на репетициях, проведении концертов.

У Лиды был сиплый голос. Создавалось такое впечатление, будто она все время простужена. Лида рассказывала нам, как немцы зимой заставили всех жителей ее села рыть окопы... Началась бомбежка, паника, они с матерью потеряли друг друга. Лида бегала по полю и кричала: «Ма-ма!» Потом она нашла ее останки... «Наверное, тогда на морозе я и сорвала голос»

...В дверь стучит женщина. На ней плащ, весь в глине. Лицо у женщины иэмученное, видно, что она чем-то очень расстроена. Из двери появляется головка девочки. Ей лет четырнадцать-пятнадцать, худенькая, изможденная голодом, блокадой, с большим открытым лбом, с косичками.

«Ты Соня?»

«Да»...

Девочка медленно поднимает испуганные глаза на женщину.

«Твою маму, в окопах... убили немцы...»

Это сцена из фильма «Балтийское небо» по одноименному роману Николая Чуковского. «Балтийское небо» — фильм о летчиках, защищавших небо блокадного Ленинграда от фашистов в годы войны. Едва прочитав сценарий, я сразу вспомнила Лиду Острашкову.

Роль Сони была моя первая драматическая роль на экране. Она принесла мне удачу. И пресса обо мне хорошо писала: «По-новому, неожиданно, в драматической роли раскрылась актриса Л. Гурченко». Но инерция после «Карнавальной ночи» и «Девушки с гитарой» была сильнее, и моя драматическая роль в «Балтийском небе» мою дальнейшую судьбу в кино не изменила...

Весной, перед самой Победой, мы с мамой поехали в Лубны. Это недалеко от Харькова. Там было все дешевле, чем у нас на базаре. После трудной зимы мама хотела меня подкормить, поставить на ноги. Мама теперь чаще бывала со мной, даже советовалась — ведь тети Вали рядом не было. Вот почему и в Лубны мы поехали вместе.

Чего только на базаре в Лубнах не было: и блинчики с мясом и творогом, и вареники с картошкой, и куличи, и соленые красные помидоры... Мы купили целую корзину яиц, курицу, большой каравай пшеничного хлеба и две бутылки молока на обратную дорогу.

В вагоне мама подсчитывала, сколько она сэкономила и на

сколько в Харькове на базаре все дороже. Ее рука все время судорожно шныряла за пазуху, где она всегда держала деньги.

Поезд часто останавливался. Входили и выходили все новые и новые люди. Зашла и потеснила нас пара — муж и жена. Чем ближе к Харькову, тем теснее и теснее становилось в вагоне. К концу нашего путешествия в купе со всех сторон висели ноги, головы, мешки, чемоданы.

В пыльном окне садилось желтое солнце. Я подумала, что хорошо бы домой вернуться до наступления темноты. С нами такие продукты, а с вокзала до дома идти не менее часа... страшно.

— Девочка, а сколько тебе лет? Как тебя зовут?

«Начинается»...— подумала я и покосилась на женщину, что потеснила нас.

— В каком ты классе и почему ты не в школе?

Я посмотрела на маму.

— Так надо, — ответила за меня мама.

— Я еще учусь и в музыкальной школе... сразу в двух. Вот, — сказала я, чтобы она не приставала больше к маме.

— Какая умница. Ты играешь? Молодец.

— Вообще-то играю, но больше пою.

— Вот как! Может, ты нам споешь? А мы послушаем. Или ты стесняешься?

Мне услышать, что я «стесняюсь петь», — ну это... даже и слова не подберу - смешно. Да у меня внутри сразу разлилось такое блаженство от предвкушения того, что сейчас будет... Но, сдерживая себя, вежливо отвечаю:

— Я не стесняюсь. Я спою. Пожалуйста. Что?

— Давай что-нибудь цыганское! — И с верхней полки свесилась курчавая голова молодого парня. Он хитро улыбался, и было видно, что у него нет передних зубов.

Я выбирала в памяти самую выгодную песню, а параллельно рисовала картину, в которой ему выбили зубы...

Эх! Да бирюзовые, да златы колечики,
Ой, да раскатились тихо по лужку...

Ну и задачу мне подкинул беззубый! По правилам, я всегда в конце пою шуточные, бойкие и цыганские песни. А тут пришлось в самом начале взять «градус». Ведь в «Бирюзовых колечках» я уже и плечами по-цыгански подтрясываю, и руками прихлопываю в ритм: «эч-тата, эч-тата», а в конце — мягкая пластичная чечеточка и удары по груди и коленям... Значит, и все остальные песни дальше придется исполнять живее и посмелее.

Среди пассажиров началось оживление. Меня рассматривали, просили передних пригнуться, чтобы меня было видно. Самой о репертуаре думать не нужно — только выполнять заказы. А я знала все. Что попросят — то и пою.

В то время и для молодых, и для пожилых — для всех поколений — любимыми были одни и те же песни. *Я* пела «Землянку», «Два Максима», «Любушку-голубушку», "Шаланды», «Гармониста», «Черемуху», "Синий платочек», «Соловьи», «Офицерский », «Татьяну», «Чубчик»...

Как же слушали люди! Все жаждали покоя, мира, тишины, все жили одним — ой, быстрей бы кончилась война! Такие разные люди, попавшие случайно в один вагон, суровые и озабоченные, промолчавшие в течение всего пути,— вдруг услышали песню и засветились, и растаяли, сидели голова к голове, плакали, улыбались, чего-то ждали...

— Товарищи! — сказал вдруг дядька, что сидел напротив нас и все время поглядывал на маму. — Мы получили большое удовольствие! А за удовольствие, товарищи, надо платить! Ее отец сражается на поле битвы за нас, товарищи, за свою семью, за Родину! Отблагодарим же, товарищи, и девочку и ее молодую симпатичную маму! Кто сколько может, товарищи! — И первый положил на стол красную тридцатку.

Больше всего денег летело сверху. Их кидал беззубый курчавый парень. Наверно, вор. А иначе где взять столько денег, которые не жалко вот так кидать?

На столике лежала гора купюр. Мама была красная, чуть не плакала.

— Берите, мамаша, не отказывайтесь. Дочка ваша честно заработала. Берите — в жизни пригодится.

Мама сидела, вцепившись в корзину с яйцами и курицей, и неотрывно смотрела на кучу денег. Тогда дядька сам стал аккуратно складывать их по тридцаткам, по десяткам.

Поезд подъехал к Харькову. Все тепло и уважительно прощались с нами, как с родными... Последними вышли мы с мамой и тот дядька.

"Не отстает,— подумала я.— Хочет у нас отобрать деньги. Специально затеял этот сбор, чтобы поживиться». Но деньги уже надежно лежали у мамы за пазухой.

— А вас как зовут, дядя?

— Называй просто —дядя Ваня.

— Большое вам спасибо, дядя Ваня.

— Чего работать зря? Слушали — пусть платят... А как твою маму зовут?

Мама меня сильно толкнула в спину... Мы поспешно

попрощались и побежали в сторону от вокзала, сделали крюк и полетели домой. Я бежала и на ходу фантазировала, куда истрачу эти деньги,— мне очень многое нужно было купить...

— Вот, Люся. Здесь шестьсот рублей. Это твои первые заработанные деньги. Видишь ли, я подумала... мы ведь давно не платили за музыкальную школу, вот ты сама и заплатишь. Я думаю, это будет правильно. Завтра же напишу папе письмо на фронт... Он будет плакать...

# ПАПА ВЕРНУЛСЯ

Война кончилась.

Была середина сентября. В городе, на Клочковской, в нашем дворе вспыхивали вечеринки. Это возвращались с войны мужья, сыновья, женихи. На всю улицу играл баян, пели, голосили, громко рыдали, дрались... На такую вечеринку заходи кто хочет — радость всеобщая. Обиды прощались.

В нашем дворе на Клочковской тоже были две такие вечеринки — вернулись мужья. Почему же до сих пор нет моего папы? Когда же, ну хоть приблизительно его ждать?

Но даже самая богатая фантазия не могла нарисовать точную картину папиного возвращения. Этого нельзя было предугадать.

...В дверь сильно стучали. Мама вскочила и побежала на кухню. За время войны я так привыкла спать с мамой, что мне стало холодно и одиноко. Это ощущение я тогда хорошо запомнила. В щелях ставен пробивался серый рассвет.

— Кто?

— Лель, ето я! Открывай, не бойсь! Защитник Родины вернулся — Марк Гаврилович, не бойсь!

Послышались звуки открываемых замков: сначала тяжелый железный засов, потом ключ один, потом второй, потом цепочка...

— Та-ак! А хто дома?

— Люся.

— Ага, дочурка дома... А ето хто курив тут?

— Это я...

— Э-э, здорово, кума! Ну, держися!

Я вслушивалась в незнакомый осипший голос и не чувствовала никакой радости. Наоборот. Было такое ощущение, как будто что-то чужое и инородное врывается и разбивает привычный ритм жизни.

Вдруг я вижу, как в комнате осторожно, согнувшись, появляется человек в военной форме с зажигалкой в одной руке и с пистолетом в другой, заглядывает под стол, хотя стол без скатерти, потом под кровать, на которой я сижу, прижавшись в углу,— а на меня никакого внимания. Вроде нужно как-то реагировать, что-то сказать, но не могу.

Все эти годы я так ждала папу, столько раз по-разному рисовала себе его приезд с фронта... А теперь все — его голос, и его поза, и серая ночь, и жалкая, испуганная мама — все-все-все не соответствовало чуду, которое я связывала со словом «папа».

Из-под кровати раздался сдавленный голос: «Ничего... я усе равно взнаю... люди — они скажуть... Тогда держися, тысяча

вовков тебя зъеш... усех повбиваю; и сам у допр сяду... Ну! Здорово, дочурка!»

Схватил меня на руки, подбросил в воздух: «У-у! Як выросла! Якая богинька стала, моя дочурочка. Усю войну плакав за дочуркую...» И залился горькими слезами, что «мою дочурку, мою клюкувку мать превратила в такого сухаря, в такого сиротку".

— Марк! Так ведь все голодали, да я сама — смотри — еле-еле душа в теле.

— Вот ты, Леличка, куришь, затумaниваешь, а ребенок аккынчательно отощал, на глазах пропадаить... Ничего, моя ластушка, твой папусик вернулся з Победою, теперь усе наладить!.. Хотел Лелю застукать на месте... Поезд учера ще пришел, у девять вечера, насилу дождався. Приду, думаю, ноччю, у самый разгар... Сорвалося - ничего! — И тут же мне шепнул на ухо: «Потом мне усе про нее изложишь, увесь материал».

Это был мой папа! Тот, которого я ждала! Но как же я могла только что не узнать его голоса, пугаться «чего-то чужого». Это мой папа! Его, именно его, мне не хватало все эти четыре года. Теперь я ему все расскажу — все обиды на маму, про несправедливости, про стояние на коленях в углу — все-все...

— Ну, Леличка, давай внесем у хату вещи... А что я своей дочурке привез!?

В нашем сером и неуютном доме засверкали диковинные вещи. Первым папа вынул бережно завернутое в тряпочку маленькое ручное бронзовое зеркальце - сверху бабочка, снизу ангел, разглядывающий себя в зеркало. Наверное, ангел поразил папу больше всего.

Каждый подарок он сопровождал историей: «У город вошли без боя. Спали у баронським замку. Такого я ще зроду не видив... Ты бы поглядела, Леля, якая красота! Куда там моему пану у деревне. Озеро, лебеди, усе стоить, а хозяев нема, як будто только что вышли. Усе лежить на столах, собаки воють, свинни землю роють, лошади хрипять. Земля непаханая — прямо плачить земелька. Нашей братве что надо - поесть да самогону. Крепко выпили и спали, а я не спав... Пошел у во двор, налив усем воды, понакормив усех собак, свинней, а наутро вже все — ко мне наперебой! Скотина, она ж не виновата... Як увидев ето зеркальце — дай, думаю, дочурочке привезу... усю жисть у него глядеть будить и папусика помнить".

Так и есть. Смотрюсь в это зеркало с бабочкой и ангелом и вижу папу...

- Лялюша! Про тебя тоже не забыв,—и бросил маме мешок. Ого! Ей большой мешок. А мне? Мама скрылась в другой комнате.

- Тебе, дочурочка, ще веломашину женскую привез. Завтра у

багаже з Лелюю возьмем. Прямо на дороге подобрав, сам починив... Не новая, правда, но ездить ще можно. А главное, дочурка, ты у меня актриса. И я тебе привез главный подарок! Исключительно артистическое платтика. Усе у каменнях... такое тяжелое, черт. Ето у самом Берлине старушка на базаре за сахар отдала. Я ей ще и хлеб у придачу - она аж руки лезеть целовать. «Да что вы, мама, якой я пан? — паном меня называить,— берите, ешьте на здоровье». Так она меня расстроила.

Чтобы увидеть это платье, надо представить себе павлиний хвост, только не из перьев, а из бисера и переливающихся камней. Таким оно было сзади. А впереди платье было короче и висели гирлянды бисера, как на абажуре. А к этому платью зеленые атласные туфли на высоком тонком каблуке 35-го размера — «ну вокурат як у дочурки».

Как же папа мной восхищался! Только он так умел: «Во ето да! Як я угадав. А сидить платтика — як тут було. Ну, дочурка, ты щас у меня настоящая пава! Утрушкум на двор от так, у етым платтике и выйди — усех соседей на лупаты положишь! Вот папусик так папусик! Во ето Марк Гаврилович...»

Мы услышали, как в соседней комнате что-то тихо замурлыкала мама. Мама пела редко. Слух у нее был неважный, и она боялась наших насмешек. Она напевала "Осень», и в ее пении чувствовалась особенная, ее собственная радость и тайна. Мы папой переглянулись — как-то забыли про маму — и вошли к ней. Она испуганно вовернулась и вопросительно посмотрела на папу.

На ней было рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечами, на шее большие янтарные бусы, а на плечах черно-бурая лисица — предел мечтаний всякой женщины в то время. В руках мама держала коричневую крокодиловую сумку.

- Ну, девки, якеи вы у меня. Як на Первое мая! Во ето семья! Вот тебе, Лялюша, и Марк Гаврилович!

Мама собирала на стол все, что было в доме. Мы не переодевались. Папа сказал: "Ето праздник семьи. Хай усе нарядные будуть».

И опять папа полез в мешок. Опять замирает сердце. Опять жду, затаив дыхание. Он вынул что-то белое, тяжелое, состоящее из рожка и станка, внутри которого кружочек с цифрами. Папа подмигнул мне, приложил рожок к уху и громко, на всю квартиру произнес: «Аллё! Елена Александровна! Здравия желаем! З вами говорить ваш любимый муж—Марк Гаврилович Гурченко! Как меня слышите? Не слышу вашага ответа".

Мама вошла с тарелкой капусты и счастливая смотрела на папу. - Марк, котик, ну зачем нам телефон? Куда нам звонить?

Есть нечего, дров, угля нет, а ты...

- Усе будить, Лялюша! Лишь бы здоровья господь послал. Теперь Марк Гаврилович вернулся! И хлеб будить, и топливо, и телефон. Зато самый лучший — белый! Такого ни в кого не будить!

Наша голая серая квартира... Я в бисерном платье и в атласных туфлях, мама с лисой на плечах и с тарелкой капусты и папа в военной солдатской форме с двумя медалями и с белым телефоном...

Сейчас, через время, я смотрю на это со стороны, и мне кажется все необычным, смешным. А тогда все было нормальным и естественным...

Наступило утро. Уже и выпили, и закусили. *Я* чувствовала, что мешаю — мама все время заставляла меня то помыть посуду, то сходить занять очередь за хлебом... Теперь мое место на кровати рядом с мамой навсегда занял папа. Надо привыкать к новой жизни. Ведь я так о ней мечтала! Ведь наконец-то, наконец-то вернулся с войны мой самый сильный, необыкновенный папа!

# БЛЕСТЯЩЕЕ «ПЛАТТИКА»

Меня послали спать в другую комнату, на диван. Я перенесла с собой и свое имущество: бронзовое зеркальце, блестящее платье, атласные туфли, на стенку повесила два портрета Марики Рёкк. Но спать не хотелось. Мне нужно было в новом платье пройтись по улице, и чтобы было побольше народу.

— Дочурочка, дорогенькая, сходи на базар, купи себе усе, что на глаза попадеть, — сказал папа и дал мне целый ком денег. Мама тоже пролепетала что-то одобрительное и даже деньги не пересчитала — как будто боялась, что я не уйду. Да мне только это и нужно — выйти на улицу. А базар! Я об этом и не мечтала, ведь куда интереснее, чем просто гулять по улице!

Дорога на базар! Сколько раз я ее исходила вдоль и поперек. Сейчас будет поворот на Лопань, где я часами стояла на морозе, чтобы набрать воды из проруби. Прощай навсегда, проклятое время! Мой папа вернулся с победой! И я иду в блестящем «платтике», в атласных туфлях на высоком каблуке, в руке куча денег, на меня все оглядываются.

Все возбуждены. Все спешат. Сейчас время такое — радостное и неспокойное. На меня реагировали по-разному: «Ух, какое платье», «Чего только не увидишь теперь», «Девочка еще, а одета по-взрослому», «А может, это маленькая артистка?" Это мне больше всего по душе.

Вот и деревянные кладки (мостик) через Лопань. Надо идти осторожно, чтоб каблук не попал в щель между досками. Я иду, напеваю Штрауса высоким голосом, как у Карлы Доннер, но сейчас ей далеко до меня. Мое платье так блестит! Особенно, как только выходишь на солнце. Аж глаза режет!

— Отец привез? Подойди-ка, покажись-ка... — приветствовал меня старичок, который любил, когда я пела с цыганами, и говорил такое красивое слово «гармония". Он и сейчас продавал порошки от клопов, блох, крыс, мышей... — Ну ты молодец, детка. Какая ты красавица. Будешь артисткой? Не раздумала?

— Никогда не раздумаю.

Я пошла по «своим» местам. Первый раз в жизни я ходила по базару с кучей денег. Вот молочные ряды, фруктовые. Мясной ряд! Здесь я раньше редко бывала, чтоб не расстраиваться. Тут продавалась домашняя деревенская колбаса с чесноком. Аппетитный запах от нее стоял уже на улице, а в павильоне!..

Денег у меня полно — со всеми расплачиваюсь, не торгуясь. Мое платье у торговок вызвало переполох, целый митинг.

«Откуда? Где такое достали? Ишь щеголяет, деньги-то как швыряет! Чтоб соплячке столько денег дать! Живут же, черти... "

Мне все это очень нравилось. Я хожу, фасоню и покупаю все-все! Вот папа! У кого еще есть такой добрый папа?

Я очень хотела сфотографироваться в этом платье. Раньше не было денег. А теперь есть и деньги, и платье сказочной красоты. Я обошла всю площадку, где стляли расписные декорации: из кавказской жизни, из деревенской жизни, из военной - фотографии на фоне самолета. Но больше мне подходило полотно, где два лебедя плывут по голубому озеру навстречу друг другу. Между ними сажают человека. Если руки раскинуты в стороны, то получается, что ты держишь лебедей за шею. Когда я подошла и увидела этот потрескавшийся картон близко... Ну нет! Рядом с моим дорогим платьем... это уже не то, это несолидно. Фотографы все наперебой предлагали свои услуги. Вот что значит платье! Раньше я часами с завистью наблюдала за теми, кто фотографировался, и меня никто не замечал».

Надька-Швабра торговала теперь газированной водой, как раз напротив своего бывшего кафе. Ну-ка, попью водички. Интересно, узнает она меня или нет.

Надька остолбенела, когда увидела мое платье. Я купила стакан воды с тройным сиропом.

— Спасибо, тетя Надя, — вежливо сказала я. Она изо всех сил вглядывалась в мое лицо, пока я медленно глотала воду. — Сильно сироп разбавляете. — Я поставила стакан и гордо ушла. А Швабра так и осталась стоять с открытым ртом.

Домой я еле-еле плелась. Ноги ныли от каблуков. Стал накрапывать дождь. Пошла босиком. В одной руке несла туфли, в другой — тяжелую авоську. В ней все смешалось. В банке с медом плавали яйца. Помидоры и груши вперемешку с колбасой, пирожками с повидлом. Кулек с карамельками и петушками прорвался, и петушок застрял в дырке... а карамельки сыпались... Сколько всего вкусного! Сейчас всех угощу. Неужели это правда, что папа дома? Нельзя поверить! Надо бежать быстрее! Дождь может испортить мое необыкновенное «артистическое» платье.

И я бегу быстрее и еще не знаю, что очень скоро этого платья у меня уже не будет. Мы продадим его в комиссионном магазине за пятьсот рублей старыми деньгами. Правда, папа тут же спохватится, побежит в магазин, но ему скажут: «Ваше платье через пятнадцать минут после сдачи купила какая-то актриса. Это редкое платье".

Папа до конца жизни переживал, что допустил такой «ляпсус». Какие бы потом ни были платья, папа говорил: «Да, ето хорошее платтика, а такого, як папусик подарив, нема».

Я сама всю жизнь ищу такое, как то, папино.

Первые радости прошли. Мы с папой побывали у всех его друзей-баянистов, оставшихся в живых. «Пароходик» погиб, дядю Васю убили... Город был разрушен. Массовики-баянисты не требовались. «Голод из голодов» — так говорили про этот послевоенный год.

Первой на базар уплыла моя «веломашина». Несколько раз папа меня вывозил в сад Шевченко учиться ездить. Но сразу у меня не получилось. А папа любил, чтобы получалось сразу: «раз, два — и в дамках». А раз с ходу не получилось — уже неинтересно. Велосипед стоял без дела.

На базаре он тоже спросом не пользовался. Мы с папой долго стояли на толкучке. Я все время держала его за руку или сидела на коленях, обняв за шею,—все боялась, что он исчезнет. Мы с ним сильно замерзли — было уже начало зимы. Папа уговаривал деревенскую тетку с мешками: «Веломашина у диревни нужна, як воздух, голова ты. Это ценная вещь. Усе на плечах несуть, надрываются, а ты, як барыня — мешки на машину поклала, она сама и везет. А ты идешь и только поплевываешь. Немцы — они тебе не дураки. У каждого в хозяйстве — пожалста тебе — веломашина, а то и две. А мы что, хужий? Вот и у тебя будить... Тебя як звать?»

- Груня.

- Эка якое имя! Бери, Груша, ще спасибо скажешь.

Женщина послушно вынула из чулка платочек с деньгами, отсчитала, тяжело вздохнула и отдала папе. Он ей погрузил мешки и показал, как надо идти сбоку велосипеда, тобы не задевать ногой за педаль.

- Ну, Груша, с богом! Ездий на здоровье...

Она медленно повела машину в одну сторону, а мы быстро пошли в другую, пока не передумала.

На деньги от велосипеда с трудом прожили два дня. Папа не мог разобраться в новой жизни. Его все обманывали, подводили, обещали, всем он верил, все у него хорошие люди. Мама его учила, упрекала, что он не деловой.

- Як же не деловой? А веломашину кто продав у самый несезон? А? Марк, котик!

- Ты ее не продал, а подарил. Да, да — просто подарил. Тебе дали втрое дешевле, миленький.— Опять она становилась ехидной. Мне было жалко папу. Он действительно не понимал, что происходит на базаре, что творится вокруг, что делать, как ему начинать мирную жизнь...

Продажей остальных вещей занялась мама.

- Встретила на базаре твоего Удава. Вот кто практичный человек! Привез отрезы, зажигалки, вокруг него толпа — все нарасхват... Молодец, Удав! Марк, ты идиот! Есть нечего, нечего есть! Ты это понимаешь? Кому, к черту, нужны твои зеркала, смокинги и телефоны? У нас в голодовку все это валялось на помойках... Ну иди и продавай свой смокинг! Я посмотрю, кто его купит...

— Полегчий, Лель, не нада, не нада так. Ты ж знаешь, я этого не вмею. Купить, продать. Я привез усе, что душа просила. Не надо меня обижать...— и заплакал. Я тут же подбежала, крепко обняла папу и сурово смотрела на маму. Ей было неловко...

Дошла очередь и до маминой лисы. Лисы были в большой моде...

— Идем усе в фотографию, и хай фотограф нас усех запечатлит у всем богатом. Ну, а потом вже продадим.

Осталась фотография, где мама с лисой, папа в красивом двубортном сером костюме, в руках у мамы аккордеон, который напрокат давал фотограф, папа на фоне своего баяна, а я с чубчиком и с маленькой гармошкой в руках.

Утром папа будил меня в школу:

— Вставай, моя ластушка, надо иттить грызть гранит науки... Ув обязательном порядке надо получить образование, чтоб ты не была, як я... Моей богиньке, моей клюкувке ничёгинька нема кушать. Ах ты ж, в триста богов...

Он давал мне в школу банку каши, которую я съедала на первой же перемене, и, вытирая слезы, стоял около ворот, пока я не скрывалась за углом. Вот счастье! Пойду домой — а меня папа ждет!

Папа настойчиво ходил, искал работу, но безуспешно. А не работать он не мог. Он должен был что-то делать — пусть не по специальности — но обязательно работать!

И однажды он все-таки ее нашел! Пришел счастливый: «Завтра, прямо з утра выхожу на работу. Лель! Устроився у библиОтики Короленко. И не просто, а завхозом!» Папе так нравилось слово «завхоз» — заведующий всем хозяйством! Мама осторожно заметила, что это не так просто, можно запутаться в счетах.

— Ну, это если работать нечестно. А я человек благородный, делу преданный усею душою, что там говорить. Не, Леличка, у меня и крошки не пропадеть...

— Ну, смотри,— сказала мама. А папа мне моргнул:

— Завидует мне, дочурка, что мне кругом почет и уважение, что я теперь завхоз...

Какие у папы были обязанности, никто не знал. А только мы с мамой целыми днями помогали ему сортировать книги, которыми были забиты все подвалы библиотеки до самого потолка.

Папа рьяно взялся за это запущенное хозяйство. Но разложить книги в стопки, по шкафам — было далеко еще не все.

Скоро папа без мамы вообще ничего не соображал. Только и слышалось:

— Лель, а это куда? Лель, а з этим что делать? И как ты усе помнишь — где что. Лель, поговори ты з начальством, у тебя это лучше выходит. Не, дочурочка, мама, як захочить, усе чисто соображает. Усю библиОтику у порядок привела. Я ще тока название книжки разбираю, успомню пока, а де етый писатель у нас лежить, а мама вже целую гору разобрала. Да что там, голова, одним словом...

Так папа и мама за одну зарплату вдвоем приводили в порядок библиотеку. А голод был все нестерпимее. Голод лютовал и в городе, и в деревне — был редкий неурожай.

Больше всех не выдерживал и страдал папа. «Ну як же вы терпите? Не могу, аккынчательно присох, кишки трищать».

Мы с мамой за войну привыкли, а папа на фронте не голодал, получал паек. На нас смотрел с любопытством — не жалуемся и смеемся еще.

- Марк, это разве голод? Есть каша, хлеб по карточкам, что ты? Ты бы видел, как мы жили, когда вообще ничего нет — ни еды, ни воды, ни дров. На улице мороз. Хоть ложись и помирай! А это... жить можно.

- Бедная моя дочурочка! Что у жизни пережила, а ще и жизни не видала...

И зародилась у папы мысль поехать в свою родную деревню.

- Лель, там картошка есть. Можа, и мясца привезу.

Мама молчала.

- Надо, Лель, съездить мне на родину. Сколько лет я у деревне не быв? Это, считай, года с двадцать восьмого... Грех! И дочурочку свою усем покажу, хай увидить дочурка, где папусик родився. Ще батька мой живеть, брат Егор... Та много ще родичей.

# ДЕРЕВНЯ

В деревню папа всем повез подарки. Он взял и свои часы, и свой костюм серый двубортный, который маме жалко было продавать, но ее больше всего интересовало, кому он подарит черный фрак с атласными лацканами:

- Марк, котик, хочется посмотреть, кто в деревне оденет фрак с хвостом, хи-хи-хи! И куда он в нем пойдет? Коров пасти? Хи-хи-хи1 Тебе он не нужен, а в деревне...

- Вот она, дочурка, вот она, «симановщина». Ух-х, якая порода вредная!

Всю войну папа мечтал, как мы с ним вдвоем будем выступать: он во фраке, а дочурка в блестящем платье.

Поезд нас довез до Смоленска, потом на другом поезде до Рославля, потом ехали на попутном грузовике, потом на подводе. И еще пешком десять километров.

Папа шел то быстро, задыхался: «Захлебаюсь аккынчательно», — то останавливался, преображался, становился незнакомым, смотрел жадно вокруг, плакал...

- Вот эту деревеньку немцы спалили. И людей усех. Эх, дочурка, якая у меня тут была ухажерка. Феня... такая пава. Ах ты ж, мамыньки родныи...

- Пап! А это еще до мамы было? Да?

Он посмотрел на меня внимательно, внутри у него происходила борьба — рассказать мне тайну или нет?

- Пошли дальший... Давно було, ще я хлопцем був.

Значит, у папы есть от меня тайна...

- Ипыть! Моя ж ты дорогенькая.— Мы подошли к речушке Ипоть — узкой, заросшей, с пробивающимся сквозь грязный талый снег сухим, жалким камышом.

- Як пойдешь вдоль Ипыти, то вокурат упрешься в Брянский лес. А там, дочурка, где начинается лес, там и стоить Дунаевщина.

Когда пришли в Дунаевщину, уже смеркалось. Здесь была одна улица — по обеим сторонам хатки-пятистенки. Улица упиралась в колхозные строения: контору, гумно, амбар... Соседние деревни, как я узнала потом,— Сморкачевка, а через речку Ипоть, на горке, — Палым. Радио было только в колхозной конторе, кино показывали раз в месяц в Палыме.

На улице никого — все в домах. Папин брат Егор писал, что немцы сожгли их старую хату, и теперь вот пришлось выстроить новую пятистенку на старом месте. Папа эту хатку узнал сразу.

Он постоял у крыльца, взвалил на плечи деревянный

чемодан, незаметно перекрестился, что-то прошептал и сказал: «Ну пошли, что будить, то и будить». Он взял меня за руку, и мы вошли в сени. В сенях, рядом с нами, замычала корова. Как же живут совсем рядом с коровой? Мы вошли в избу. Нас как будто не ждали... В комнате темно. Свет шел из кухни — там стучали посудой. Опять промычала корова, и дверь скрипнула... Я села у входа на лавку.

- Ну, здорово, сынок, здорово, невлюддя. Думал, помру и не свидимся, — раздался голос из темного угла. Тут же из кухни, распахнув полотняные занавески, выскочила женщина с большим животом. За ней следом семенил босиком, в одной короткой рубашке, мальчик лет двух. Женщина бросилась не к нам, а в угол, откуда раздался этот сиплый голос, срывающийся на высокие ноты.

- Батя, батя, успокойтеся. Сейчас я лампу принясу. Ото Марка ваш приехал, Ягор говорил, что Марка с городскою дочкую приедить,— суетливо щебетала женщина вокруг «бати», как будто боялась его. А к нам и не повернется... Из темного угла послышались кашель, кряхтения, пересыпаемые крепкими словами. Я увидела огонек раскуренной трубки. Женщина внесла большую керосиновую лампу. Двигалась она быстро, несмотря на необъятный живот, и так же быстро за ней шлепал мальчик с простертыми руками, хватал ее за юбку.

— Марка, ты что стоишь коло порога? заходи у хату, садися. Сейчас Ягор придеть. Батя! Марка!.. Батя... Марка...

— Батька, прости... прости. Я ж не хотев...

— Сынок... Марка... нема матки. Нема Федоры. — Он закашлялся. — Кашель аккынчательно забив, усе кашляю... скоро помру, сынок...

Папа плакал, обнимал небольшого сухонького старичка с худым лицом и с бородкой клином. («Бородка в моего батьки клинушкум, як у Калинина...»). Дед всхлипывал и кашлял. Я была разочарована. Дедушка мне представлялся большим, сильным, с седой бородой, а он вот всего лишь какой...

Я разглядывала дом. Русская печь, на ней еще двое мальчиков смотрели на меня — лет пяти и трех. Это ведь мои двоюродные братья. А за окнами поле, на котором кое-где еще лежал серый снег. А за полем черной стеной стоял густой Брянский лес.

Когда я при свете лампы близко увидела лицо женщины, меня словно пригвоздили к месту. Никогда я не видела более красивого и совершенного лица. Вот это да! Настоящая красавица. Не в кино, не в городе, а в глухой деревне, жена папиного брата Егора, мать троих (а скоро и четвертый будет) детей. У нее было все совершенно необыкновенным: и кожа

молочно-розовая, и длинная белая коса, и носик с трепыхающимися тонкими ноздрями, и широко поставленные зеленые глаза, и тонкие брови, и чуть припухшие веки — все. Ух, она меня сразила наповал.

Меня дедушка не обнял и не поцеловал, смотрел на меня издали колючими глазами. «Больно она в тебя, сынок, тоща. Надо подкормить ету худорбу. Что ето - одни дрябы...»

Я ела с аппетитом картошку с мясом, запивала парным молоком. Потом красивая женщина повела меня в туалет — просто за дом в огород. Светит луна, звезды, ото всюду все видно. Я с мукой на лице сказала, что стесняюсь, что тут все видно.

— А на что смотреть? Что ты свои бельмы вылупила? Давай, шевелися, чуковней,— зло сказала красивая женщина. Я решила обращаться к ней как можно реже.

Меня положили спать на большую кровать. Матрац и подушка из соломы кололи лицо и бока. Вся семья спала на печке, полатях, а кровать стояла для красоты. Иногда на ней спали гости.

Я лежала и слушала, о чем говорили дедушка и папа. Дедушка высказывал свои обиды — что папа уже и про бога забыл, и молитвы небось не вспоминает, и «ихнюю фамилию Гурченков зменил на Гурченко. А де ж делася «в» на конце, спрашиваю?..»

Папа робко, как мальчик, объяснял, что молитвы в городе никто не читает, но он их не забыл. Он действительно их не забыл. Иногда перед обедом папа, подражая деревенскому попу, нараспев читал: «Оче всех, на тя, господи, уповам. Ты даешь нам пищу заблаговременно, отвергающего щедрую руку твою, исполняющего всякое животное благоволе-е-ни-е...» Мы с мамой смеялись, а папа пережидал: мол, вы, девки, смейтесь себе, а я свой долг исполнил, а может, и есть якая-то сила...

— А насчет фамилии — так это у конце двадцатых годов получав я новый паспорту шахти. «Як фамилия»,— спрашують. Гурченков,— отвечаю. Ну, наверна, «в» не вслышали. Увидев, что фамилия без «в», вже дома, хотев сходить у контору, а потом подумав: живу на Украине — что Гурченков, что Гурченко — один черт.

Пришел дядя Егор — маленький, некрасивый, прыщавый мужичонка-плюгавка. Ну почему так бывает в жизни? Ну как же его можно любить?. А жена-красавица смотрит на него, носится вокруг, «як квочка».

Дедушка тихо говорил о войне, об оккупации, о партизанах, о том, как погиб папин брат Михаил.

Эту историю я знала от папы. Дядя Миша был связным

партизанского отряда, а в деревне, для немцев, был старостой. Перед самым отступлением немцев дядю Мишу кто-то выдал. Немцы повесили его на глазах у всей деревни. Впереди поставили мать, отца и Егора. «Сожгли хату. Мать твоя, Федора Ивановна, через три дня померла, хай земля ей будить пухум. Усе терпела. И бив я ее здорово, и обижав — усе терпела, а етого не снесла. Вот тут, на етом поле, вокурат шагах у десяти от хаты и повесилили Мишку. Вот, сынок».

Они пили самогон. Дедушка все время пыхтел трубкой и кашлял. Папа бил себя в грудь, клялся найти предателя, говорил, что обыщет и Палым и Сморкачевку, а «его» зарежет и добровольно сядет в допр, но за Мишку отомстит. Потом говорили про какую-то Феклу — ей дедушка с Егором тоже выстроили новую пятистенку. А Володька уже в армии. Он красивый, здоровый, служит во флоте... Папа опять плакал, говорил, что ему всех жалко, жалко, что так все в жизни получилось.

И еще дедушка жаловался на большие налоги. Говорил, что плохой урожай. И даже в Ипоти рыба перевелась, а раньше сколько ее ловили...

# ФЕКЛА

Когда я проснулась на следующее утро, папы уже не было. Он исчез. Я попила молока, вышла на крыльцо и встретилась со своим дедушкой Гаврилой Семеновичем. Он курил трубку и смотрел на поле, где стаями летали и громко каркали огромные серые вороны. Жена Егора копала землю, дети бегали около нее. О «туалете» не могло быть и речи... На мой вопрос, где папа, дедушка, не глядя на меня, ответил: "А кто его знает». Та-ак, приехали к «родичам»...

Уже вся деревня знала, что приехал «Марка з городскою дочкую». Женщины ходили посмотреть на меня. Зайдут к жене Егора, якобы по делу, говорят с ней, а сами откровенно меня рассматривают.

|]од вечер шумно появился папа. Сильно навеселе, с целой группой «кровенных». В центре внимания, счастливый и, как говорят, «стоя на хвосте».

Не было мамы, и папа летел по ветру на всех парусах! Разливали самогон «за честь, за дружбу», пели деревенские частушки — и папа ярче всех! Он был в своей родной стихии. Правду он говорил, что городская жизнь не для него. Он был такой счастливый, каким я не видела его в городе никогда. Здесь, в деревне, он был первым человеком. И говорил грамотно, и повидал мир больше всех: «Я, братва, родився, можна сказать, на грани двух веков... Да что там говорить! Пешком, считай, прошел три государства — и Россию, и Польшу, и усю Германию. Да-а, братва, Германия тебе не Россия. Усе дома под черепицу узяты, усе одного роста, улицы длинные, ровные, як стрела, чистота... У хозяйстви усе есть — и свинни, и гуси, и лошади... ув одном баронськом замке в озере лебеди плавають — белые, черные. Во красота! А бабы не то, наши лучий. Усе носатые, рыжие, но аккуратные — что да, то да. Идеть—и платтика на ней сидить, и беллё шелковое с бархамотками (кружевом). Что ты смотришь? Ты что? Я??? Да божа меня упаси! Чтоб я, благородный человек?! Не-е... Да вот крест святой! Э, голова ты, вот послушай, что я тебе говорю: идеть немка, а ветер платтика подымить — ну я и увидев. Ты что? Я — не-е». — И тут же подмаргивал. Громко смеялись: «Ну, Марка, ну, мужик, вот ето наш смоленский...»

" А на мою дочурку Людмилку не смотрите, что она сухарек, эта соплюшка ще вам такой концертик устругнеть! Все чисто вмеить, она в меня: и поеть, и играить, чечеточку, и акробатику. Усе!»

Дружки поглядывали на меня, как будто в чем-то передо мной были виноваты,— с жалостью, кисло усмехаясь. И опять с ожиданием — на папу.

В какой раз я уже слышала знаменитый папин рассказ, как маршал Рокоссовский ему лично баян подарил.

— Ну, братва, выступали мы перед самим Рокосовським! Он з маленькую дочкую в первом ряду сидить. Усе выступають — ничего, а як до меня дошло... щас усе по порядку... Да-а, у начале концерта я аккомпанирую своему солисту Чернухе — ну голос, як у попа — агромадина голос! — самогон только, зараза, хлещет здорово. Ну, словом, номер проходил хорошо. А во втором отделении я вже один, як солист, на маленьких гармоньках. Я ще выступлю тут у вас з дочуркую, вы ще увидите, да! Уси гармоньки до единой сделав вот этими руками. Ты что? Да я усе чисто вмею — я и столяр, я и плотник, я и буровых дел мастер — все, что хошь — и часы починю, и печку... Да-а, ну вот. Як дошло дело до самой маленькой гармоньки, весь зал хОдором. Успех самый больший! Ну, а у конце Рокосовський лично мне у руки вручил баян. Вот етый самый... щас выну з футляру. Во!" «У-у-у», — загудело за столом. Это был баян итальянских мастеров «Фрателли Грозио». — Вот так, братва.

Все с любопытством рассматривали переливающийся инструмент.

Эту историю папа рассказывал до семидесяти пяти лет. И каждый раз импровизировал по-новому, с неожиданными деталями. Мы с мамой иногда выскакивали на кухню, чтобы он не слышал, как мы смеемся. То баян вручал ему лично Рокоссовсий, то из всей бригады выделили его одного, и замполит «при всем народе» передал "от самого Рокоссовского» личную благодарность, а в подарок от него — баян. Дочка маршала то фигурировала в рассказе и просила папу подарить ей маленькую гармошку, то он вообще о ней не вспоминал. А однажды получилось, что папа выступал перед Рокоссовским, а баян ему вручил сам Жуков. Вот тогда мы с мамой и выскочили в кухню. Когда гости ушли, мама осторожно заметила, что «Жуков и Рокоссовский »воевали, вообще-то, Марк, котик, на разных фронтах».

«А я что сказав, Жукув? Да, перегнул, Лялюша, а никто и не заметив»...

В действительности же дело было так. Папа выступал в военно-прифронтовой концертной бригаде. В день они давали по три-четыре концерта. В грузовик с актерским реквизитом попал снаряд. Там находился и папин баян — тот, с которым он ушел на фронт, довоенный. Уцелел только кожаный мягкий футляр с

маленькими гармошками, который папа всегда держал при себе. Стало известно, что артисты пострадали. А концерты на передовой были нужны как воздух. Командование фронта распорядилось достать артистам все, чтобы они могли продолжать свою работу. И однажды папе вручили черный «Фрателли Грозио» и грамоту за отличное служение Родине и честное отношение к своему долгу. А друой баян — белый, без камней — «Скандалли" вручили второму баянисту, дяде Сене, которого папа окрестил «Удавом». А перед Рокоссовским папа действительно выступал и имеет грамоту, подписанную маршалом лично. И если бы папа вокруг этого события не придумал истории — это был бы не он.

Еще пили «за Рокосовськага, за Жукува — это настоящие солдаты... За Мишку, погибшего брата...»

А потом настроение за столом резко изменилось. Папа схватил нож, и все побежали в Сморкачевку, где якобы жил человек, который предал дядю Мишу... Папа с ножом в руке кричал: «За мной, братва! За Мишку, его — в триста богов, в кровину!—разрежу на куски и сам у допр сяду!»

Сколько раз я слышала раньше про допр, но в этот раз было страшно.

На столе остались следы буйного застолья. Егорова жена убиралась и зло бубнила что-то против моего папы. Дедушка курил свою трубку и молчал. Я легла спать. Папы не было всю ночь.

Утром пришла большая некрасивая женщина. Она смотрела на меня очень внимательно, сказала, что видела меня, когда я только родилась, а теперь уже вот какая большая и очень похожа на папку, а на мамку совсем не похожа.

Эта женщина, Фекла, пригласила меня к себе в дом. Она жила в соседней деревне. Наверное, это ей выстроили Егор с дедушкой новую пятистенку. Она почему-то называла дедушку батей. И дедушка, со всеми такой колючий, был к ней как-то особенно ласков. Наверное, она тоже наша родственница... Так почему бы мне к ней не зайти? Дедушка молчит, Ёгорова жена злится, дети ее меня сторонятся. А Фекла такая добрая, внимательная.

Дома у нее было чисто, уютно. Кругом занавески, вышитые полотенца, все отделано деревенскими самодельными кружевами. На полу много маленьких ковриков — круглых, четырехугольных, треугольных — очень красиво. Я такого больше ни у кого не встречала.

Угощала меня Фекла оладушками из крахмала, молоком и все смотрела на меня и смотрела, аж неловко становилось. «А иде

ж твой папка?»

«Да пошел еще вчера в Сморкачевку кого-то резать за дядю Мишу и до сих пор нет...»

„Ай-ай-ай! Чаво ты молчала? Чтоб табе припадки забили. Марка — он же бешеный, ай-ай-ай», — и пулей выскочила из хаты.

Я осталась одна. Доела, все очень вкусно. И что-то захотелось мне домой, к маме. Я никогда не скучала без мамы, если со мной был папа. Но вот папе не до меня и впервые мне не хватает мамы...

Вечерело. Я сидела у окна, смотрела на поле, на Брянский лес и ждала папу. Он заявился только к ночи—совершенно трезвый, с синяком под глазом, с оборванным рукавом и очень бледный. Рядом с ним шла Фекла и один «кровенный» друг. Фекла рассказывала дедушке, что папу еле отвели от греха — кто-то предупредил того человека и его не оказалось дома...

«Ну, а Марка говорит: я его дождуся, а не придеть, хату спалю. Насилу, батя, усе уместе сладили с ним... вы ж, батя, Марку знаете...»

"Умная ты баба, Пекла».— И дедушка, и папа Феклу называли почему-то Пеклой...

Я засыпала и опять сквозь сон слышала папины угрозы, но уже не такие страшные, как днем. А дядя Егор говорил, что это все не доказано, только так думают, что именно «он» выдал Мишку, а кто это знает наверняка?

— Ну ладно, хай живеть,— сказал наконец папа.— Бог, он шельму метить... Не я, другие доберутся, жисть есь жисть... Ну, дочурка вже спить, пойду-ка я Андреевне карася загоню...»

Странные они все-таки, эти деревенские, и папа тоже. Сами же говорили, что в Ипоти рыба перевелась, а тут караси... И кто такая эта Андреевна?..

# КОНЦЕРТ В ДЕРЕВНЕ

Утром, очень рано, меня как будто сильно толкнуло внутри. Мне не надо было искать папу. Я точно знала, где он.

Когда я открыла дверь, Фекла возилась у плиты. На столе лежал папин заштопанный пиджак и чистая рубашка. Фекла так меня испугалась, что стала быстро шепотом, неразборчиво что-то говорить, из чего я поняла только: «папка увесь больной"... Я все поняла.

Я выскочила из хаты, сильно хлопнув дверью. Я никого не хотела видеть. Целый день бродила по лесу, сильно замерзла, было страшно одной в темном лесу. Меня искали, кричали совсем близко...

Больше папа меня одну не оставлял. Он водил меня по своей родине, показывал разрушенное имение пана, и поле, где ребенком пас панских лошадей. Показал большое нарядное кладбище, где похоронен был дядя Миша и бабушка Федора Ивановна. «Она тебя нянчила, когда ты ще тока родилася, до нас у Харьков приезжала, просила в Лели: «Дай мне ету девычку, ты ще молодая». А в нее ж одни сыны. Она думала тебя у Лели забрать, а я чтоб до Феклы з Володькою назад вернувсь... Меня за Феклу насильно отдали. Я ее и не любив... время пришло, я вже здорово погуляв... А она здоровая была — одна воз поднимала — во, зараза якая была. У деревне вокурат такая у хозяйстве и годится. Батьки з маткую она понравилась. А мне нравилася Феня...»

А в конце нашего пребывания в деревне мы дали двухчасовой наш с папой знаменитый «концерт».

Так вот для чего он брал с собой фрак! Эх, мама, прозорливая-прозорливая, а и не сообразила...

Для меня этот концерт был очень важным. Если раньше я в одном выступлении только пела или пела и танцевала, или пела и показывала акробатический этюд, то в этом концерте в деревне я впервые должна была все это совместить и еще аккомпанировать папе на баяне во время его соло на маленьких гармошках. Только успевай! Лишь бы хватило духу! Я замирала от предвкушения радости этого вечера...

Папа вышел в черном фраке, в узких черных брюках из дорогого кастора, в белой манишке с черной бабочкой, в черных лаковых туфлях. Красавец! Все на нем выглядело удивительно импозантно. Очень сильно похожий на заграничного короля, папа никак не вписывался ни в публику, ни в стены деревенской колхозной конторы, но он ничего этого не замечал, от него так и

шли к людям тепло, любовь и добро.

— Дорогие мои земляки! Щас перед вами выступить знакомый усем вам Марк Гаврилович Гурченко з своею дочуркою Людмилою Гурченко! Первым номером нашей программы вы услышите у моем исполнении соло на баяне!

Папа уселся на край табурета, прямой, красивый. Я за простыней готовилась к своему ответственному выступлению, раскладывала реквизит и слушала до боли родные звуки марша «Привет музыкантам».

— Почему, дорогие мои земляки, не слышу аплодисмента? Артиста надо приветствовать! Ето ему приливаить силу!

Послышались робкие аплодисменты. Аплодировала молодежь. Они в кино бывают, читают — знают, что значит «аплодисменты». За ними уже и бабы с мужиками, смущаясь и радуясь по-детски, начали хлопать в ладоши...

— Другое дело, земляки! Чуковней, чуковней — не стесняйсь!.. Мелодекламация— исполняить актриса Людмила Гурченко! Аккомпанируить на баяне Марк Гаврилович! Не слышу аплодисмента... А-а! Во ето другое дело! — и шепотом мне: - Побольше драматизму, дочурка, ну, давай, вжарь, як следуить... З богум.

И я, окрыленная папой и аплодисментами, начала драматическую мелодекламацию на мотив «Крутится, вертится шар голубой».

Лесом, полями, дорогой прямой
Парень идет на побывку домой.
Парень подходит... нигде ничего,
Горькое горе встречает его...
Все поразграбили, хату сожгли,
А Настю, невесту, с собой увели...

Слушатели всхлипывали, громко сморкались. Все, о чем я читала, было для них понятным, знакомым, прожитым...

— А сейчас моя дочурка исполнить танцы республик! Гопак! Танец Украины!

Я быстро забежала за простыню, надела на голову венок из бумажных цветов.

Потом папа объявил «танец Грузии — лезгинку» (я надевала на голову косынку, завязывала узлом сбоку, чтоб болтались концы). Ударным, последним танцем был танец Татарии «чок якши». Зрители должны повторять хором: «чок якши!» Но папа сказал: «Тута бабы етага не потянуть... Давай без народу — одна». И я в маминой довоенной тюбетейке с удовольствием

танцевала комичный танец «чок якши».

Бабы и мужики аплодировали уже без напоминаний. Им понравилось. В хате было весело, все раскрепостились...

— А сейчас Марк Гаврилович исполнить «папури на тему советских песен». И не на баяне, земляки, а... щас узнаете. Такого вы ще не видели! Аккомпанируить на баяне уже знакомая усем моя дочурка Людмилка.

Это был папин коронный номер. Я только скромно играла на басах: умпа-умпа-умпа или вальс: умпапа-умпапа, умпапа-умпапа. Мне нужно было подыгрывать папе — делать вид, будто я все вижу в первый раз, и удивляться, смеяться, следить, затаив дыхание... А следить было за чем! Папа играл на семи гармошках! Он постепенно вынимал все меньшие и меньшие. Футляр пустел и пустел. На каждой гармошке шел короткий музыкальный номер. Самая маленькая была с тремя клавишами, со спичечный коробок. Растянешь гармошку — «до», сдвинешь мехи — «ре». Три клавиши—шесть нот. К этой гармошке публика уже накалена. Нетерпеливое ожидание — неужели еще одна? Куда ж меньше? Папа смотрел на стол, где выстроились уже шесть отработанных инструментов, потом в «кулисы», потом искал на полу, потом вопросительно смотрел на меня — я растерянно поднимала плечи. Зал проделывал то же самое. Все ворочали головами, переговаривались громким шепотом. А папа, что-то наконец вспомнив, смотрел в один боковой карман... Нет! Во второй карман — нет... «Что же делать?» — говорило его растерянное лицо. И вдруг, сообразив, хлопнув себя по нагрудному карману фрака, подморгнув залу,— под общий одобрительный рев вынимал малютку-гармошку вместе с носовым платком. Успех! " Та что там говорить..."

"Лирические и патриотические песни наших композиторов. Поеть Людмила Гурченко!»

Песни принимали с душой, а особенно «Давай закурим!». В задних рядах даже закурили.

Завершающей я спела «Два Максима»: «Так-так-так,— говорит пулеметчик, дак-дак-дак,— говорит пулемет». А в конце, вместо слов «дак-дак-дак,— говорит пулемет, — выбивала звук пулемета — чечеткой. И тут же следовал мой ударный номер.

— Акробатический этюд! В том же самом исполнении! Мастер на усе руки — моя дочурка Людмилка! Ну, бабы, держитеся...

В это время я за простыней надела прямо на платье полосатые шаровары и вальсом выпорхнула на акробатический номер. Что творилось в зале! Когда я сделала мостик, женщины вскочили, выкрикивая: «Марка, угомони дочку, она ж в тебя

луснить напапалам...» А папа играл вальс «Дунайские волны» и подмигивал — еще не то, мол, будет. Папа сиял!

В этот вечер папа был необыкновенно обаятельным. Я понимала маму, понимала, за что она его всегда прощала. Я вот — все время старалась не забывать про обиду за папу, но у меня ничего не получалось. Я смотрела на него, и мое лицо, помимо желания, расплывалось в улыбке. А как же после этого сердиться? Это ж совсем глупо.

После концерта были танцы. Папа играл, а я с видом взрослой, опытной актрисы — одна бровь вверх, другая вниз — устало улыбалась публике...

Когда я буду актрисой, я обязательно буду и петь, и танцевать, и играть; и чечетку , и акробатику... Как сегодня. Ах, какое необыкновенное счастье быть актрисой!

Моя мечта все сыграть в одной роли осуществилась через тридцать лет, в 1978 году в телевизионной программе «Бенефис». Здесь все мои героини поют, танцуют, и, как и каждая женщина, мечтают о любви! Готовая, в гриме, я входила в павильон, включали фонограмму... разливалась музыка, блаженство! И я неслась на крыльях навстречу своей осуществившейся мечте! Кто назвал этот жанр легким? Почему он унижаем и к нему нет должного внимания? После «Карнавальной ночи» я долгие годы была актрисой несерьезной — «актрисулькой» легкого жанра. Я на себе испытала эту второсортность... Но какой же он легкий, если актеров этого жанра можно пересчитать по пальцам, а режиссеров и того меньше?!

В легком жанре нужно обладать всем, здесь нужны и музыкальность и пластичность, и ощущение тончайших нюансов в ритме, тональностях, в оркестровках. Этими свойствами актер и режиссер легкого жанра должны обладать плюс к тому, чем обладают режиссеры и актеры, работающие в «трудном» жанре.

Если это такой легкий жанр, то почему драматические актеры так редко бывают интересны в нем? Сейчас этот жанр в моде. Нет ни одного театра, где бы не ставили мюзикла. Почему же так мало интересных открытий? Потому что для легкого жанра надо родиться! Если актер под чужую фонограмму открывает рот, то он только синхронно артикулирует, а поет и рвется наружу чья-то другая талантливая и эмоционапьная душа. Если танец навязан актеру, то сразу заметно, что он не танцует, а работает. А работы в легком жанре не должно быть видно. Вот в этом смысле он действительно «легкий».

Теперь мне вроде простили старые грехи — принадлежность к легкому жанру. Недавно в одной статье, где разбирались мои

последние драматические роли, проскользнула мысль: теперь, мол, она имеет право повалять дурака и побалагурить в "Бенефисе». Рядом с такими серьезными ролями это можно себе позволить... Нет. Для меня это не так. Мой любимый легкий жанр меня всегда обновлял и делал счастливой, несмотря на результаты.

И тогда, в деревне, после концерта мы с папой были так счастливы — мы два часа «держали» зал!

По Дунаевщине мой папа прошел могучим ураганом. Его никто и ничто не сдерживало, и он «выступил» во всю свою мощь! Было все: и радость, и слезы, и безудержное загульное застолье, и тяжкое похмелье, и концерт во фраке, и воспоминания, и «кровенные», и батька, и поминки, и Фекла, и нож, и драки. Деревня словно бы вздрогнула, всколыхнулась, словно обновилась...

Нас провожали всей Дунаевщиной. Все несли гостинцы «для Марки и его дочкИ от городской бабы...»

Но больше всех хлопотала Фекла: «Для Люськи, для Лели».— А потом увидит меня, покраснеет: — «Для твоей мамки»... Провожала нас до самого поезда. Десять километров пешком несла на себе самое тяжелое. Папе не дала: «У папки твоего живот весь рваный...»

Всю жизнь папа втайне страдал за Феклу и за сына Володю. Всю жизнь им помогал...

Когда я была с папой в деревне, Володя служил во флоте — он на восемь лет старше меня. Я его увидела позже... Он похож на папу, только нос с горбинкой, как у Феклы. После армии Володя стал шахтером в Дзержинске. Он и сейчас там живет.

Когда папа умер, Володя приехал на похороны со своим старшим сыном. Они стояли рядом, такие разные, но очень родные. Я все время смотрела на Володины руки — большие, сильные, точно как у папы, и точно, как у папы, на них были черные точки от угля...

Став взрослым, он все понял, простил отца. Ну разве можно его было не простить? Ведь это же был папа... Он был таким. Вот и все.

Фекла так никогда больше и не вышла замуж, все ждала своего «Марку»...

Мы стояли последний раз вокруг «Марки»: я, Володя, мама... и молчали...

«Спи спокойно, дорогой папа,— сказал наконец Володя.— Хай земля тебе будить пухум...» Первый раз в моей жизни папу при мне еще кто-то назвал папой.

А в 1946 году, когда мы возвращались домой в Харьков, папа меня попросил: «Не надо, дочурка, не говори Лели... Ты же ее знаешь, не пойметь, начнеть вырабатывать себе разное...» — и заплакал. Я опять его сильно любила, даже еще сильнее.

# СОВСЕМ БЕЗНАДЕЖНО

Вернулся раненый Паштетик, он сильно хромал. Паштетик работал в пивной на базаре, зарабатывал неплохо. Он предложил папе тоже поработать в пивной, чтобы продержаться, но мама об этом и слышать не хотела.

А в доме у нас было совсем безнадежно... Кончилась деревенская картошка, кончилась мука, папа метался по городу, от дружка к дружку, по учреждениям, но работы по специальности все не было. И вскоре папа, провожая меня в школу, шепнул, чтобы я его нашла на базаре в пивной: «Надо, дочурка, мне подсобить. Только маме ни звуку». После школы я прямиком — по Рымарской, через Бурсацкий, на базар — к папе!

...Скоро в пивной появились постоянные клиенты — папины и мои поклонники. Все желали угостить баяниста. Буфетчик наливал клиенту водку, а папе воду. Папа весело чокался, говорил свое «за честь, за дружбу», а вечером получал деньги за водку, которую не пил. Зато холодной воды ему приходилось выпивать больше литра за вечер. «Вот баянист, какой здоровый, черт! Как пьет! И не пьяный»,— удивлялись посетители, и папин авторитет еще больше вырастал.

Мои походы к папе держались в строгом секрете от мамы. А если бы об этом узнала Матильда Владимировна? Да меня бы с позором выгнали из обеих школ! А я бегу без оглядки к папочке в пивнушку, которую он называл солидно — буфетом. «Да работаю щас, временно, в одном буфете... Скоро вже будить настоящая работа». Настоящей работы еще долго не было, но жить нам стало намного легче.

Я пела, а клиенты, бывшие фронтовики — большей частью израненные, потерявшие родных, — теплели, оттаивали, начинали вспоминать... У буфетчика больше заказов, папа чаще пил холодную воду, а мне сыпались деньжата и очередной заказ:

...И, когда умолкла ария Надира,
Мы спросили — кто он, этот молодец?
Нам ответил рядом голос пассажира:
Вот он, в гимнастерке, раненый боец.

(папа на басах: па-па-па-па)

Обыкновенный русский человек.
Каких у нас в России миллионы.

Обыкновенный русский человек,
Надевший молча каску и погоны.

У нас в доме появились новые «кровенные» друзья, рьяные папины поклонники. Один без руки, другой был танкистом, горел в танке — половина лица обожженная, а третий, такой красивый, голубоглазый, совсем молодой — на коляске, без ног. Валентин. Подъедет, ни на кого не смотрит, глаза вниз — ни «здрасте», ни «до свиданья»: «Марк Гаврилович у себя?» Проезжает прямо в комнату — хоп на стул, вместе с коляской,— и смотрит влюбленными глазами на папу. А маме было приказано принимать всех вежливо и быть «поласковей, полегчий з людями, якеи пострадали за Родину». Начиналась любимая песня. Пел ее папа:

Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Тех боев испутники мои?..
Если ты случайно неженатый...

Валентин жениться не успел. Танкиста жена бросила... А у того, что без руки, все умерли в оккупацию...

Этот день я в жизни никогда не забуду.

Маме сообщили, что меня видели в пивнушке. Сначала был жестокий скандал: «Какой ужас! Какой позор! Больше так жить невозможно!» Она возьмет меня и уйдет из дома, а папа пусть остается со своими сявками и бродягами — «это то, что тебе надо!» А ей хватит всю жизнь страдать. «И ребенка тянет за собой». Ах, какая она несчастная... Папа стоял, виновато опустив голову.

И вот в самый разгар скандала появляется вся «кровенная» троица с выпивкой, садятся по своим местам, и пошло: «За честь, за дружбу», «За Марка Гавриловича!», «За Родину!», «За Сталина!», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»... И выпивки не хватило. Водки в доме не было. Деньги лежали в шифоньере под замком, а ключ был у мамы.

— Лялюша, подкинь деньжат...

— У меня денег нет.

— Лялюша, полегчий, полегчий... ты ж меня знаешь. Прошу по-хорошему: сходи у магазин. У меня у доми мои кровенные друзья.

— Нашли себе пристанище! Вон пусть идут на базар, в пивнушку, «кровенные».

Что себе мама думает? Как она отвечает? Разве с папой так можно? Да еще при людях, да когда он в таком состоянии... Что сейчас будет???

— Значит, не даешь?

— Нет.

— Та-ак. Где мои пять братов, свинцом налиты — смертью пахнуть? — спросил папа, оглядывая свою огромную пятерню.—Я допра не боюсь... Ну, сама напросилася!

В маму полетели бутылки, стаканы, тарелки... Мы выскочили в коридор. Но потом, я не выдержала, опять заглянула в комнату — меня-то папа не тронет. На ходу перевернув стол, он подскочил к шкафу, одним ударом пробил фанерную дверцу (она аж запищала, бедная). Папина рука осталась там, внутри шкафа, он с силой рванул ее, и дверца открылась.

Папа десять лет был забойщиком в шахте. Уголь тогда рубили вручную, и папины руки были необыкновенно сильны. Один раз он на спор пробил дубовый стол, две недели не мог играть. Очень любил быть победителем в споре.

Когда папа вырвал руку, взгляд его упал в зеркало. Белые страшные глаза попали в «волну», стали вдвое больше. Белое лицо. На лбу черные, слипшиеся кольца волос. Даже «кровенные» притихли и перестали подначивать папу: «Ну-ка, покажи ей...»

...Мама точно знала, когда пора возвращаться домой. Она шла очень быстро, победоносно напевая, заранее предвкушая наслаждение от того, как папа сейчас будет просить прощения. Я бежала за ней и не знала, как мне быть, кого винить, кого жалеть, на чьей быть стороне...

Папа сидел посередине комнаты на стуле без спинки, вокруг битая посуда, стол перевернут, руки у папы в засохшей крови...

Как только он нас увидел, обхватил голову руками и зарыдал. Каждый раз у меня сердце разрывалось от жалости, как будто он плачет при мне в первый раз. А мама стояла с неприступным видом и с тайным удовольствием, удовлетворением слушала: «Лялюша, дорогенькая, прости меня, прошу от чистага сердца, бога ради... Я тебя усегда честь по чести прошу — когда я пьяный, будь ласка, не иди против меня, подражай мне, а то будешь бедная. Я ж тогда делаюсь... убить могу. Дочурочка, моя ластушка, скажи хоть ты ей, ты ж меня знаешь. Я ж допра не боюсь».

...Я вижу, что рядом с разбитой посудой лежат папины инструменты: напильник, ножовка, молоток.

Я смотрю на шифоньер. На место безобразной дырки в дверце

папа аккуратно выпилил овальную продолговатую рамочку. А с внутренней стороны приклеил фотографию, снятую в Берлине.

Стоит мой папа на лужайке, на фоне знаменитого «баронськага» замка, в черном фраке, в белой манишке, в руках «Фрателли Грозио», а на лице — лучистая, добрая, «папина» улыбка!

# РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В 1948 году папа и мама устроились на постоянную работу в харьковский Дворец пионеров. Они как будто помолодели и, счастливые, шли на работу. К детям! Как до войны... Даже не верилось, что все невзгоды, мытарства позади. Папа взваливал баян на плечо, громко, чтобы все во дворе слышали, говорил: «Ну, я пошел у дворец к детям, они меня вже ждуть».

Сколько ребят в те радостные и веселые массовки познакомились с «тетей Лелей и дядей Марой». Одно поколение сменялось другим, и бывшие дети потом приводили во дворец своих детей к тете Леле и дяде Маре. И папа каждую массовку играл, как первую в жизни, всегда дольше, чем полагалось по времени,— столько, «сколько дети захотять». Когда мама загадывала загадки, он шепотом подсказывал детям ответы Или, пораженный смекалистым ребенком, выкрикивал: «Во ето парень, во ето голова» или «Якая чуковная девочка, як моя дочурка».

Папа гордился тем, что их с мамой в городе все знали. «Та что там говорить, як иду з баяном по городу, усе з окон выглядають: «Здрасте, Марк Гаврилович! Здрасте, дядя Мара!» Усе — и дети, и взрослые. Ну, а як же? Хорошага человека видать зразу... А ее — не-е, Лелю не любять, божа храни — боятся, ну и... уважають. Что правда, то правда, работник она неплохой. Что да, то усегда да, я ж не против».

Но работа держалась на маме. Если надо было быстро решать, папа примолкал. А когда все уже было сделано, обдумано, папа говорил свое последнее «решающе" слово и был собой очень доволен. Он прекрасно понимал, что все сделала мама, но он ведь муж, мужчина... Мы ему подыгрывали и, улыбаясь, переглядывались с мамой...

Во дворце мама вела урок бальных танцев. Они были очень модными. Танго, фокстрот и «линда» — были категорически запрещены. Мы разучивали падеграс, миньон, падепатинер. Вначале мы с мамой исполняли показательный танец. А потом девочки и мальчики парами повторяли движения.

В кружке мне очень нравился Вова Серебрийский — высокий, чернявый, и фамилия такая «дорогая» — Серебрийский, а не какая-нибудь Гурченко. Меня он никогда не приглашал танцевать. Вова танцевал с разными девочками, никому не отдавая предпочтения. Но влюблены в него были все. Мама догадывалась, что Вова мне нравится. Это просто было написано у меня на лице. Иногда она нас с ним насильно соединяла для показательного танца.

«А сейчас Вова и Люся покажут, как нужно вести даму за руку и как правильно держать голову...»

Я, покраснев, счастливая, с готовностью выскакивала в круг, а Вова шел медленно, с тоскующим выражением на лице. А после танца уходил от меня ускоренным шагом. Хотелось плакать. Ну почему я ему не нравлюсь? Я ведь и пою и танцую, а теперь уже и на аккордеоне научилась играть...

Жизнь с каждым днем становилась все светлее и интереснее. В ней столько всего нового!

На экранах шел кинофильм «Глинка». Композитора играл Борис Чирков, Анну Керн — Кира Головко, а Пушкина — Петр Алейников. Лучшего Пушкина я не могу себе представить. Алейников удивительно тонко, по-своему, в нескольких эпизодах показал великого поэта. Таким Пушкин мог быть. Все внутри... только странные, больные, все понимающие, всепрощающие и восхищенные красотой Керн глаза. Глаза Пушкина — Алейникова. Я страдала, когда в зале при его появлении начинался дружный смех: «Ваня Курский — Пушкин! Ха-ха-ха...» А я вот не видела тогда еще «Большую жизнь», для меня Алейников был вне всяких сомнений Пушкиным. И когда побежала позже на «Большую жизнь», то опять меня поразил Алейников в роли Вани Курского абсолютной несхожестью с Пушкиным. Всегда восхищалась Алейниковым — ни одного шва в роли. Все так естественно и просто, а ведь совсем рядом трещит камера и много посторонних людей в павильоне. Когда после «Карнавальной ночи» я перестраивалась на драматические роли, я еще долго слышала (даже и сейчас слышу) от зрителей: «А вот Леночка Крылова из «Карнавальной ночи»... Как трудно побороть инерцию зрителей, режиссеров...

Потом я влюбилась в американскую актрису Жаннетту Мак-Дональд. На экранах шли фильмы с ее участием: «Роз-Мари», «Таинственный беглец», «Двойная игра» и «Спринг тайм» — что значит «Весенние дни». Этот фильм мне больше всех нравился. Ее неизменный партнер — красавец Эдди Нельсон. Ну, то, что я наизусть знала всю музыку из всех этих картин «от и до» — это «як закон». А Жаннетта Мак-Дональд стала в ту пору моим идеалом — ее голос, внешность, мимика, «игра», ослепительная улыбка — все было для меня неотразимо!

Перед лентами с ее участием шел титр: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских захватчиков». И после этого грозного известия начиналась такая розовая безоблачная жизнь с музыкой, перьями, пудреными париками, шляпами, кринолинами и кружевами... Все так соскучились по красоте, по музыке, что смотрели эти фильмы по

десятку раз. А я еще больше.

По сюжету в картине «Спринг тайм» композитор специально для актрисы-певицы, которую играла Мак-Дональд, пишет русскую оперу «Царица». Этот эпизод идет в финале картины. И Жаннетта Мак-Дональд, одетая в русский блестящий сарафан, только с голой спиной, на голове сверкающий кокошник с нитками жемчуга под подбородком,— поет с героем, Эдди Нельсоном, который изображает русского боярина в собольей шапке. Дуэт! Русская царица и русский боярин. Жаннетта Мак-Дональд и Эдди Нельсон. Ну ничего в них русского нет, ну ни капельки... Но дуэт! Какая непревзойденная музыка! Какая мелодия... Да, вот же пишут заграничные композиторы... Дуэт очень мощно написан — действует на всех! Такая вдруг в нем Русь, русская ширь. Американцы подметили все удивительно...

«Эту музыку я слыхав. Точно, дочурка, слыхав»,— сказал мой папа. Как же я на него набросилась тогда! Это был как раз тот период, когда мне было стыдно за папу.

Я росла и все явственнее слышала его речь, видела его необразованность. Тогда-то я и расспрашивала маму, как такое могло случиться, что она вышла за него замуж... А теперь мама кажется мне самым счастливым человеком — она так интересно прожила свою жизнь рядом с таким самобытным и неповторимым человеком. Больше такого я не встречала...

Вместо репродуктора из черного картона, который хрипел, папа купил новый. Я слушала радио целыми днями.

Делаю уроки, работает радио, и вдруг!.. Как током ударило. Да нет, не может этого быть! По нашему советскому радио звучит музыка из американского фильма «Спринг тайм». Это уже было в период жестокой «холодной войны»... И вдруг музыка из американского фильма! Включаю радио на полную громкость, по квартире льется музыка дуэта из оперы «Царица». Но вот уже и незнакомая мелодия. Может, я ошиблась? Ага — вот опять знакомый кусок, как раз финал дуэта, все до единой ноты точно, я знаю, помню! Ну, ну, говорите же, что сейчас исполняли, ну!..

«Мы передавали в исполнении симфонического оркестра Пятую симфонию Петра Ильича Чайковского. Дирижировал Мелик-Пашаев». Мир перевернулся.

Потом, когда у меня появился проигрыватель и пластинки, я досконально изучила Пятую симфонию и поняла, что любовный дуэт собран из второй части и финала симфонии. Вот тебе и опера "Царица»!.. После этого открытия на душе было неприятно... Как-то стыдно было за Жаннетту Мак-Дональд... А еще больше — за себя стыдно было перед папочкой. Ведь он-то точно слышал эту симфонию, когда учился в муздраминституте.

Только это было так давно, конечно, он мог забыть, как называется музыка, откуда она... Но слышал он ее точно. А я ему не поверила...

Именно в конце сороковых годов опять на экраны вышли фильмы Любови Орловой с музыкой Дунаевского, моего любимого композитора. У Дунаевского что ни песня, что ни мелодия — все поют. Я особенно любила «Цирк» и «Веселых ребят». Эти картины мы с подругами не пропускали ни разу. Сколько же у меня было фотографий Орловой! А сколько вообще было фотографий! Мы тратили деньги вместо завтраков «на артистов», бежали после школы на базар и покупали еще и еще, обменивались: «За Дину Дурбин даю четырех Нельсонов, а ты мне еще обещала Серову...»

Позже, в Москве, папа жаловался моей московской подруге, Наде Мухиной: «Надь! Ты только подумай, у школе, вокурат после войны, есть нема чего, а она етих актеров накупить, усе стены позаклеить ими, и усе новые и новые, новые и новые. Усех и не запомнишь у лицо, а она и усе фильмы знаить, и биографию каждого знаить, и усю музыку з фильмов етих поеть — во, брат, з детства так було».

Я так любила дома оставаться одна. Накину на себя, как Орлова в «Веселых ребятах», кружевное покрывало с кровати — подарок тети Вали, — подойду к нашему волнистому зеркалу... ну, так, чтобы глаза были большими, а носик маленьким. И пою!

А на кухне варится борщ на керосинке. Мама просила проследить за ним. Но о каком борще можно сейчас помнить?

По кухне летают лопухи копоти, меня ждет скандал, но я ведь этого еще не знаю! Я пою на всю квартиру, намазав губы маминой помадой:

Я вся горю, не пойму отчего,
Сердце, ну как же мне быть?

А с другой стороны нашего много видевшего шкафа, с овальной рамочки мне как будто аккомпанирует мой папа в черном фраке на своем сверкающем «Фрателли Грозио».

Он мне улыбается своей доброй, родной и подбадривающей улыбкой.

# ДОВЕРИЕ

Я все время повторяю слово «впервые». А чем его заменить, если в жизни когда-то все происходит в первый раз. А потом начинается время ошибок, повторов... Опыт и воля сами по себе не приходят.

К десятому классу, после полного равнодушия друг к другу, мы стали самыми близкими людьми с моей одноклассницей Милой Гитштейн. Как будто до десятого класса и знакомы не были. Почему так случилось? Не было ни толчка, ни случая к нашему сближению, да и, наверное, просто пришло время.

Мы даже родились в один день—12 ноября 1935 года. «Сестры, одним словом, ето неспроста и в один год и, вокурат, в один день... Не, Милашка, якая-то сила есть..." - говорил потом мой папа. У меня не было сестры, а мне еще в детстве хотелось сестру или брата. И она стала мне действительно родной, «як сестра». Моя мама называла ее «Милкинс», а папа «Милашкую». Когда он гладил ее по голове, он говорил: "Ого, якой волос у Милашки, як у ведмедя. А у Люськи, як у горобца".

Между нами было что-то особенное... точнее всего здесь слово «доверие»... Что-то такое, когда на расстоянии чувствуешь, что тебе не врут, и ты ничего не боишься, не сжимаешься в комок, а дышишь свободно, не оглядываешься назад. Когда и она, и ты могут с кем хочешь и куда хочешь, но от этого отношения действительно не колеблются, потому что они — главное, а все остальное — второстепенное.

Школы до 1954 года были раздельными. На вечера к нам приглашали мальчиков из 58-й школы тоже украинской. Это было целым событием!

Папа категорически запрещал мне общаться с мальчиками, а тем более дружить. "В ету дружбу" он не верил. Да и дружбы-то такой раньше не было. Девочка рядом с мальчиком на улице — все оглядываются...

"Ето все, дочурка, пустое дело. Сперва надо вывчиться, получить образование — ув обязательном порядке, а там сама себе жениха выберешь. Вот увидишь, женихов ще в тебя будить... до самого Киева... не переставишь. Я вот не слухав своего батьку, гуляв з девками**...»**

После папиных образных выражений я представляла длинную вереницу женихов. Но вереницы не было. Появился один. И то — один на двоих. Толик.

После школьного вечера Толик нас провожал домой — он посередине, а мы с Милочкой по сторонам.

Потом Толик провожал нас уже и не только после школьного вечера. Сначала меня. Потом Толик провожал Милу. Ее родители за мальчиков не преследовали. Когда мы втроем спускались по Мордвиновскому на нашу Клочковскую и я издали видела выглядывающих из-за угла папу или маму, я уже не хотела ни провожаний Толика, ничего на свете... Я незаметно переходила поближе к Милочке и шла уже рядом с ней.

О чем мы говорили с Толиком? Он в основном молчал. Единственное, что мы о нем узнали — это что он занимался фехтованием.

Ему было с нами весело. Он не пропускал ни одной встречи. На свидания мы приходили всегда раньше, прятались за деревом. Когда появлялся Толик, пережидали еще несколько минут, а потом уже выходили, извинялись, что опоздали, и так каждый раз.

Сговорившись, мы с Милочкой вдруг начинали ему петь тихонько в два уха;

Я. Сколько вам лет? Дайте ответ.

Она. Сорок.

Я. Ну что вы!

Она. Честное слово.

Я. Вам тридцати еще нет...

Эту песню пела Клавдия Шульженко. Мы называли это «песнями про старичков». Подумать только, тридцать лет! Сорок лет! Нет, нам никогда не будет тридцать! С большим удовольствием Милочка с Толиком слушали мои пародии и подражания Шульженко, Бернесу, Утесову и его дочери Эдит.

Мы с Милой были счастливы. Вот и мы уже взрослые.

Папа настоятельно просил нас прекратить «ету тройку». Но встречи и провожания продолжались. И однажды, когда мы возвращались с очередной прогулки, папа вышел нам навстречу. Я знала, чем это пахнет.

Толик поспешно потряс нам по-товарищески руки и тут же нырнул в первый попавшийся двор. Мы с Милой пошли... Она сразу защебетала, стала ласково «заговаривать зубы», а папа сухо отвечал; «Идите, идите уперед».

У ворот стояла мам в ватнике, накинутом на халат, испуганная и бледная.

«Марк!..»

«Утикай (уходи),— прошипел папа и полез в карман пиджака. — Ну, девки, я вас миром просил по ласке прекратить ету тройку... терпение лопнуло. Я за себя вже не отвечаю. Ну!!!» — И с театральным ужасом на лице вынул из кармана деревянную скалку, которой мама раскатывала тесто.

«Люся!!!»— закричала Милочка. Я ее быстро схватила за рукав, и мы рванули через наш двор, через палисадник тети Сони, через ветхую деревянную ограду в соседний двор... Папа вслед за нами легко преодолел забор, а под мамой он рассыпался. «Так и надо — кушай меньший». Мы с Милой еще успевали и смеяться.

И вдруг Милы нет. Только что мы были рядом, и вот — не успела я оглянуться на маму, а Милы уже нет! И папа остановился. Он уж забыл, зачем за нами гнался, сам вошел в игру. Папа задыхался, оглядывался...

— Лель! А дё она? Де Милашка? Люська вона, а Милашка... як сквозь землю...

— Марк Гаврилович! Простите нас, мы больше не будем,— раздался жалобный тоненький голосок откуда-то действительно из-под земли.

— Милашка! А де ты?

— Я боюсь...

Она сидела в канализационном люке.

— Да что ты, на самом деле, голова, давай вылазь.

— Я боюсь, Марк Гаврилович.

— Я ж пошутив, у меня вже и в руках ничего нема,— оправдывался папа. Он сам был испуган.

Ох, и получил папа от мамы! «Ну, Марк, тебе завтра влетит! Да Мила такого в жизни не видела. Разве ее отец устроит такое? Миша ведь нормальный человек. Ну завтра держись, Марк, котик, хи-хи-хи...»

Но дядя Миша ни о чем не узнал. Ведь это же была моя умная подруга Мила. И папа считал ее своей родной и наставлял ее так же, как и меня. И даже когда мы стали совсем взрослыми, папа не разрешал ни мне, ни ей приходить домой после одиннадцати часов вечера. У нас у обеих у самих дочки, а папа... как папа.

Это было уже в Москве. Мила приехала ко мне в гости. Как только мой папа перебрался в Москву, он в тот же вечер прорубил в стенах дырки, вбил петли и стал закрывать на ночь двери моей квартиры тяжелым железным ломом. Ключам он не доверял. У него и в Москве было «як у Харькиви». Я уехала в экспедицию, а бедная Милка, если приходила позже одиннадцати, ждала за дверью, пока папа долго, нарочито медленно открывал замки, и выслушивала: «Ну, де можно так долго ходить? Якеи такеи подруги? Якеи дела можно делать до двенадцати часов ночи? Ну, посидела, ну, поточила лясы... — и домой. Я же жду ее, не сплю... нервничаю».

«Марк Гаврилович, у меня же есть ключи. Не надо закрывать двери на жепезку".

«Ишь ты якая! Ето ж тебе не Харькив, ета, брат, столица.

Сколько народу разнага! Не, детка моя, добро надо беречь».

Я всегда отпугивала людей, когда повзрослела. Особенно раньше. Я не понимала, в чем дело? Те, которые потом меня еще видели и узнавали получше, почти всегда впоследствии становились моими друзьями, товарищами, подругами. Ну, а которые видели всего один раз, отворачивались. И я терпела в жизни неудачи. Но самые больные переживания были в работе.

Если тебя приглашают на роль, то первый этап — знакомство с режиссером. У меня долгое время этот этап был первым и последним — я с первой минуты начинала «выделяться». «Что это с ней? И в институте, говорят, играла неплохо, да и в картине про ночь вроде нормальный человек»...— говорило недоуменно лицо режиссера. И как-то извинительно, с потухшими глазами со мной прощался — и больше мы не виделись.

Я ничего не понимала. Решила попробовать, как другие. Прихожу, держусь изо всех сил, молчу, не «выделяюсь», смотрю на партнеров, беру с них пример. А потом выйду с репетиции в коридор студии да как побегу! Ни с того ни с сего. И бегу, пока не устану. Тут-то уж режиссер меня не видит... Кое-как начала дотягивать до проб.

А с одним очень известным режиссером я пробу все-таки прошла. Он мне даже прислал письмо. "Надо будет поискать грим, и сделаем еще одну пробу". Но на этой "еще одной" меня и понесло. Режиссер - интеллигентный, сдержанный человек, один из самых интереснейших в стране режиссеров... а я как пошла. И кручусь, и верчусь, и наигрываю, и анекдотик, и шаржи, и пою, и копирую, и пару харьковских жаргонных словечек, и чечеточку. Опять тот же недоуменный взгляд: «Что это с ней? Все вроде было нормально...» И взял другую актрису.

Роли, которые я сыграла, пройдя кинопробы, можно сосчитать по пальцам. А чаще на роль я попадала случайно: или срочно нужна актриса, а ее в городе нет и долго не будет, или актриса заболела, или режиссер меня видел в другой картине и берет без проб на эпизод.

Я все внимательнее и серьезнее следила за собой, держалась и сдерживалась. Ну почему так? Актер на пробе умен, тактичен, сдержан, говорит мало — больше слушает. И в нем такая тайна, подразумевается такой потолок. А потом, в готовом фильме, выясняется, что в пробе-то и был его потолок. А роль — ровная, гладкая, без неожиданностей, поворотов, без внутренней эксцентрики. Хотя все правильно, не придерешься. А ведь в жизни все так неожиданно! Только что-то наметишь — и все вверх тормашками! В жизни ничего нельзя отрепетировать. А в кино

почему-то принимаешь условности, видишь красивую мизансцену в фильме о производстве — и молчишь. А кино вроде искусство, наиболее приближенное к жизни. Как играть — гладко и ровно? Или рисковать, как бывает с тобой в жизни? Если рисковать, опять страх: ведь тебя не примут и опять в глазах будет: «Что это с ней?»

Ну кто же меня со всеми моими потрохами примет? Со всей моей эклектикой и «чечеточками»? Ведь это надо принять, полюбить, а иначе меня просто нет...

...Я первый раз стояла без палки. Фильм «Мама», где я получила травму, я закончила с гипсом, на костылях. В картине «Обратная связь» не сделала ни одного шага — только сижу и стою на здоровой левой ноге. Во «Второй попытке Виктора Крохина» я уже делала два-три шага, незаметно опираясь на стол. И вот новая роль.

Здесь, в картине, уже долго переносили сроки моих съемок — ждали, когда я начну ходить. В этой группе я еще никого не знаю, с палкой стыдно как-то было приезжать. И вот я первый раз стою без опоры.

Травма была ровно год назад, я потеряла форму, чувствую себя разбитой, старой, беспомощной. В ноге сидит шесть шурупов и титановая пластинка — они держат осколки сломанной ноги, и я думаю о них постоянно...

Нога болит нестерпимо. А мне сейчас нужно быть победоносной, эксцентричной, разбитной и завлекательной. Мой партнер моложе меня на десять лет. Я его еще юношей видела на экране, а мне тогда было двадцать семь лет. Тогда я вообще не снималась. Теперь ему тридцать, он сильный, красивый, здоровый. Нам сейчас предстоит дуэт-состязание, мы должны вот-вот сойтись в сцене и подняться на самую высокую ноту, попасть в «жанр»...

Нет сил ничего доказывать, нет желания. Такая разбитая, хочется лечь быстрее. Сколько можно доказывать? На пробе доказываешь, на репетиции, на концерте, в интервью, в жизни — все доказываешь, доказываешь, доказываешь. Ну нет же сил... Что делать, как уйти от неминуемой сцены?

Стою за домом. Меня никто не видит. Я одна. Отсюда я пойду на камеру, навстречу роли, партнеру, людям, которые потом мне станут родными... навстречу режиссеру, который заставит меня писать про папу и мое детство... Ой, ну не могу, ну нет же сил...

«Ты прекрасная, ты самая красивая. Ты все можешь, все. Не думай об этом, пусть героиня хромает. Это даже интересно. За двадцать лет с человеком бог знает что может произойти, а тем более с ней. Ты моложе выглядишь, чем он. Посмотри, у него уже

и складки у рта, и лоб... Ты не бойся, дави его. Возьми его и задави — ты же актриса! Раскрепостись, делай что хочешь. Захочешь закружиться—кружись, отвернись от камеры, смотри в камеру — что хочешь. Для этой сцены мне пленки не жалко. Ну, дорогая моя, помни, что ты самая прекрасная, самая красивая... Ну, милая моя, красавица моя. Я тебе доверяю полностью — делай что хочешь, в любую сторону», — говорил, отходя все дальше и дальше, режиссер.

Какой он красивый, как прекрасно он улыбается. Какие красивые люди живут на земле! Я посмотрела на себя в деревенское окошко. Свет падал мягко, теней под глазами не было. А я вроде сейчас действительно ничего, вполне, а? А ведь он прав - я и пою, и играю. Почему я все время в себе копаюсь, сомневаюсь... Что это со мной? На улице жарко, а по спине, между лопатками, поползла ледяная струйка. Вот и во рту пересохло, вот уже и забил озноб. Началась знакомая трясучка — уже сигналит мой актерский профессионализм моему разбитому больному организму, что он уже готов: «давай, подбирай свои «дрябы» и мышцы, пошли в бой!» Сейчас, сейчас, подождите. Я сейчас соберусь. Так. Сейчас сцена эксцентрическая, комедийная, а пототом, в конце, «она» раскроется в драматической ситуации, но это потом. Вот такая моя героиня — Тая. Я вспоминаю, что кумиром Таи мы с режиссером решили сделать звезду пятидесятых годов Лолиту Торрес.

«Мотор!»

Сердцу больно, уходи, довольно,
Мы чужие, обо мне забудь.
Нет, не надо — ни руки, ни взгляда...

И я уже иду навстречу молодому партнеру и вижу его складки у рта и лоб в морщинках, и мне от этого легче... На ходу, шаг от шага, чувствую, что делаюсь изящнее, стройней и моложе.

А почему я не хромаю? Ведь это же мы обговорили, это интересно, как сказал режиссер. Но нога совершенно не болит. Она здоровая. Первый раз не болит за этот мучительный год. Но все, уже поздно. Начинается сцена. Партнер заглянул глубоко мне в глаза, а дальше — уже не я, уже кто-то другой. Никогда, ни на одной, самой подробной репетиции так полнокровно не узнаешь партнера и себя, как после слова «мотор», «горячим» способом. Тут видно все. Ничем не прикроешься. Это самое мощное и высокое напряжение всех твоих актерских и человеческих ресурсов. У нас - в драматических ролях, драматической картине — пошел дуэт из мюзикла! Все, что говорили,— на фонограмме

звучит, как музыка! Без специальных подстроек и мучительных болтливых изматывающих репетиций, мы с ходу попали в жанр этой необычной драматической картины, спели сцену «в яблочко». И стало ясно, почему двадцать лет назад эти, теперь уже повзрослевшие герои фильма, полюбили друг друга на всю жизнь. А в предыдущей серии дуэт юных талантливых артистов уже сыграл наш роли. Вот этот дубль и стоит в картине режиссера Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского — «Сибириада».

...Я сразу осунулась, сильно захромала и, держась за забор, пошла опять туда, где меня никто не видит.

— Эй ты, Коза, ну как тебе твой партнер?

— Ой, что вы, Никита Сергеевич, по-моему, хорошо... Получилось вроде.

— А-а... нравится! Эх ты, такую роль на Козу променяла.

Я двинула плечами, сутулая, сникшая... Я его больше не стеснялась, он сейчастак много узнал про меня, а я про него, как будто мы долгие годы знали друг друга.

— А-а, Коза, не поверила мне, вот и ножку сломала. Теперь будешь верить? А?

— Теперь не знаю, б-буду...— сказала я не совсем уверенно.

Режиссерам я уже не верила. Обещали всегда очень много. Сколько раз я слышала, что для меня нужно специально писать сценарий. «Вот у меня сейчас будет готов сценарий, там такая для вас работа, Людмила. Я вам буду звонить. Готовьтесь!" И все. И молчок.

Мне кажется, из всех профессий в кино профессия режиссера — самая вибрирующая. Режиссеры — самые неверные люди. Я время от времени анализировала причины. В общем, так оно и должно быть. Если в центре фильма человек, который не возбуждает режиссера к фантазии, к новому, к сверхсилам, если режиссер в него не влюблен и не восхищается им, то снимать фильм трудно, иногда невозможно. Потому режиссер и меняет в своих картинах актеров, объект, остывает к предыдущим, которых он снимал, и результаты от этого не становятся хуже. Просто этот режиссер работает вот так. Но мне ближе такой, который заранее знает, что и в следующей работе он будет вместе со своими проверенными друзьями-единомышленниками, и они его не подведут. Я с удовольствием иду на фильм Данелии потому, что обязательно увижу там Евгения Леонова, на фильмы Панфилова потому, что увижу там Инну Чурикову. Они — единомышленники. Происходит взаимное обогащенеие, а выигрывает от этого их фильм, искусство.

Наверное, я сама во многом виновата — слишком поздно начала понимать, что к чему, многих отпугнула своей

невыдержанностью, но мне не пришлось работать постоянно с одним режиссером. Кончалась картина, и я опять не знала, что будет завтра, какому режиссеру захочется пригласить меня на следующую... Опять все сначала: сдерживать себя, что-то играть тебе не свойственное, и думать об одном: «скорей бы в кадр». Боли от встреч с режиссерами было у меня предостаточно. И я решила: режиссер пообещал — прекрасно! Поблагодарила. И забыла. Лучше не верить, а потом быть приятно удивленной.

И вот 1976 год. Я снималась на Рижской студии. Вечером в гостиницу звонок из Москвы: «Здравствуйте. Это Михалков. Что вы делаете летом? Вы читали Чехова — "Платонов»? Там есть роль генеральши. Я ее готовлю для вас. Вы мне нужны будете совершенно свободной. У меня репетиционный период. Обязательно. Мы с вами договорились. Я вам буду звонить».

А накануне в рижском Доме кино я посмотрела «Рабу любви». Я была под большим впечатлением от картины... от Елены Соловей, от художника Адабашьяна, режиссера Никиты Михалкова. И надо же! На следующий день он сам звонит. Как правило, всегда звонят ассистенты, реже вторые режиссеры. Но сам режиссер... Очень редко, очень...

Я порадовалась, порадовалась и «закрыла клапан», чтобы потом не расстраиваться. И больше никаких звонков. Ни слуху ни духу. Правильно. Чудес не бывает. Я к этому привыкла. И начала сниматься в совместной постановке — «Мосфильм», Румыния, Франция — в мюзикле «Мама».

Опять звонок домой: «Это Михалков. Я был в больнице. Срочно начинаю пробы. Надо поискать грим, костюм. Давайте, приезжайте завтра на студию».

- Я не могу. Я уже снимаюсь в «Маме».
- В какой маме?
- Ну, так фильм называется...
- Нет, вы серьезно?
- Фильм так называется — «Мама». Это мюзикл по сказке «Волк и семеро козлят», и я играю Козу.
- Козу???
- Ну, так в сценарии...
- Слушайте, что вы говорите? Какая коза? Я же вас просил освободить лето! Я же на вас писал роль!
- Я вам не поверила, я не верю режиссерам...

Так захотелось плакать! Неужели он говорит правду? Неужели он действительно для меня писал роль?

Пробы по «Платонову» — «Неоконченная пьеса для механического пианино» — мы с Михалковым провели. Директора картин «Мама» и «Механическое пианино» уже

договаривались о моей занятости... И тут я получила тяжелую травму. Все остановилось.

Да, такую роль на Козу променяла!

Через два года, рано, часов в восемь, неожиданный звонок:

- Это Михалков. Привет, Коза. - Голос в восемь утра бодрый, энергичный. Наверное, Михалков уже пробежал десять километров, как это было на съемках «Сибириады» — вся группа еще только просыпается, а он уже пробежал, позавтракал, сидит и читает газету.

«Я сейчас между двумя сериями «Обломова» хочу попробовать снять в корокий срок картину, у меня есть до зимы три месяца. «Пять вечеров» Володина знаешь? Мне нужны артисты, которые сумеют быстро войти в роль. Ищу, ищу актера, сам уже хотел сыграть, но думаю, нет, не смогу — снимать и играть... Но очень хочется. Вообще играть очень хочется, но Ильина не буду. Сыграю Тимофеева... Ладно, Коза! Не суетись, ближе к делу. Что у тебя со временем?»

«Я свободна»,— сказала я, не моргнув глазом. И в тот же вечер прервала переговоры с группой, где уже была намечена проба, а режиссера еще и в глаза не видела. Звонили ассистенты...

«Пять вечеров»... Тамара Васильевна. Роль, состоящая из цитат, сыгранная и другими, и мной в предыдущих картинах. Уже давно драматурги и сценаристы разнесли пьесу Володина по частям, по репликам. Она появилась в 1957 году. Сколько раз сама на экране говорила, как Тамара Васильевна: «Все парами, а я все одна и одна". Сколько раз я сыграла одиноких женщин и сколько раз мне на экране говорили партнеры: «Выходи за меня»...

Что мне делать с этой ролью? Ведь в Тамаре Васильевне все играно-переиграно и очень хорошими актрисами.

Нужно попытаться, не мудрствуя, поближе быть к пьесе, постараться реставрировать роль, не стесняясь повтора, если это на благо образу, если это искренне. Наверное, нужно попытаться не рыдать, не плакать, избежать напрашивающихся сантиментов. Тамара семнадцать лет живет одна, она так уже привыкла, она забыла, что это вообще такое — любовь. Она в железных бигуди и в бесформенном халате, серенькая, безликая, непонятно, сколько ей лет — тридцать, сорок, пятьдесят... Ее виду никто уже не удивляется — все давно привыкли. Это очень важно. В первой встрече с Ильиным она будет неприятной, даже отталкивающей — ведь она давно уже не видит себя со стороны, она уже давно не женщина, все умерло. Работа, племянник, дом, телевизор, железные бигуди, железный голос, «лет сто не танцевала»... Больше ничего до третьего вечера мы о ней не знаем. Но Ильина

она рьяно, по-сумасшедшему, разыскивает... Это еще не любовь, это только проснувшаяся память о прошлом, о том, какой она была прежде. Она еще железная, хотя внешне и изменилась к лучшему. Надо будет поменять вязаную бесформенную шапку на кокетливый глупый берет... она уже и одеться не умеет, и в этом особая безнадежность. И пусть она говорит Тимофееву: «Я ведь, в сущности, живу одна. На работе хорошо. Все время чувствуешь себя нужной людям. А вот в праздники плохо. Все парами, парами, а я все одна и одна. (Последнюю фразу режиссер разрешил не говорить.) Да! Так пусть она этот монолог говорит оптимистично и бодро — ни в коем случае не плакать и не жалеть себя. Это еще пронзительней, когда человек не видит себя со стороны и не понимает, как он трагически одинок. Пусть после этого монолога зрителю захочется сказать ей: «Дорогая, ну что ты бодришься? Ведь ты так наивно прикрываешься». А потом уже, потеряв «его» опять, еще раз, она обмякнет, уйдет «железо». И вот тут надо играть Любовь. Тамара уже слабая, потому что опять любит. Чувство к Ильину просыпается с новой силой, и на глазах возрождается никуда не ушедшая, приглушенная, нерастраченная женственность. Это слабая, нежная, хрупкая девочка с морщинками на лице. Она дождалась своего счастья...

Перед съемками начались репетиции. Их я боялась как огня. Но Михалков про меня уже давно все понял. На репетициях я тарахтела без умолку. Рассказывала анекдотики, копировала и шаржировала, хихикала и пела на разные голоса, рассказывала про папу, крутилась и вертелась, забыв, что мне сорок два... А к роли нет-нет да и вернемся. Почитаем, прослезимся... полюбуюсь на Любшина... и опять меня режиссер отпускал на свободу!

А к съемкам все — внутри — лежит на местах. Тронь струну — и весь аккорд ответит! На съемках — ни нервов, ни репетиций, ни выяснений отношений между героями — уже все выяснено. По движению брови, по скошенному рту режиссера знала, куда мне повернуть. В самых трудных сценах Михалков подходил, брал меня за плечи: ну, ты все поняла. От этого доверия появлялись новые силы, и я играла сцену. Мы с режиссером уже были в актерской упряжке в «Сибириаде». Он знает, что такое находиться с другой стороны камеры. Потому он чувствует актера и верит ему.

В павильоне абсолютная тишина. Все передвигаются бесшумно и только по делу. Идут синхронные съемки. Между членами группы самые теплые отношения. На меня смотрят, последние поправки со светом, сейчас начнется сцена... Саша Адабашьян здесь. Интересно, как он себя чувствует после вчерашней трудной сцены? Саша не актер. Он сценарист и

художник картины «Пять вечеров», но я Тимофеева представляла именно таким. Любшин еще не готов, он поправляет грим. Вчера «горячим способом» играли с Сашей эпизод. Ни он, ни я не знали, как повернется сцена, — режиссер нас "пустил», значит, так надо — даже вчерашняя странная рваная сцена. Как интересно смотреть на Сашу и подстраиваться и перестраиваться на ходу. Что за человек Тимофеев? Любит он Ильина или не любит? Защищать Тамаре Ильина или нет? Прислушиваюсь к мельчайшим обертонам в интонации Тимофеева — верю!.. Верила, верю и стоп! — опять не верю... Вся сцена переворачивается, и за что я его потом благодарю — не понимаю. И все же все точно, как бы и в жизни было... Потом, когда снимусь в этой сцене, нужно будет показать свои харьковские фотографии, которые я выбрала и принесла. Завтра они должны висеть на стенах комнаты Тамары — завтра будет сниматься финал...

Мне не стыдно здесь, на съемочной площадке, рассказывать, как мой папа говорил мне в детстве: «Дуй свое, дочурка, надо «выделиться». Иди уперед, моя богинька, моя клюкувка...» Мне не стыдно воспроизвести папину неграмотную речь. Да, для меня — это моя боль, моя радость, моя гордость.

Кажется, меня первый раз приняли со всеми моими потрохами, эклектикой и чечеточкой...

— Богинька, клюкувка, иди на место в кадр,— тепло обращается ко мне оператор Лебешев.

Точно, приняли.

— Мотор, — шепотом говорит Михалков, и я иду в кадр, в счастливый финал.

# «ДАВАЙ ДАЛЬШИЙ»

Мой дорогой и любимый папа остепенился поздно. В 1952 году, после сердечного приступа, врач сказал ему: «Если будете курить и выпивать — умрете». Наутро папа проснулся и навсегда забыл, что он когда-то занимался таким «сознательным убийством своего организма — ето ж якая дурысть!» С того дня как отрезало! Папа начал бдительно следить за своим здоровьем.

«Самое главное у жизни — питание». Ел он только полезное: творог, молоко в неограниченном количестве, мясо кролика, очень любил арбуз. В гостях он просил молока, в ресторанах угощал других. За чужой счет есть и пить считал неприличным. От икры морщился, но ел, потому, что это полезно. Рыбу жевал равнодушно, мясо отдавал маме.

Когда папа узнал, что от сахара развивается склероз, он тут же перешел на мед. Если кто-нибудь убеждал папу, что от того или иного продукта он помолодеет и в него вольются сверхсилы, в которые он очень верил, — он мог съесть все что угодно.

В 1963 году я снималась в Риге в фильме «Укротители велосипедов». Папе было шестьдесят пять лет. Я привезла ему три огромных жирных угря. Я ему всегда привозила деликатесы и диковинки. Или кокосовый орех, или ананас, или самый модный костюм, или ручку, в которой чернила то прикрывали дамочку, то обнажали. Я знала, что он будет всем показывать, демонстрировать, хвалиться. Пойдут шутки, выдумки, начнут рождаться новые папины истории. Он будет в своей стихии.

"Ето что за гадюки ты привезла, дочурка? И вот ето люди добровольно едять? Мамыньки. Не, я не... Хай Леля. Она усе зъесть».— И ушел в комнату, явно разочарованный моим сюрпризом. А во дворе ждут, чем он сегодня похвастает, — дочь ведь приехала! — и во дворце ждут...

«Сейчас, подожди»,— сказала мама, заметив мое огорчение, и пошла к папе в комнату, что-то ему сказала.

«Да? Ето точно? А что ж вы мне не говорите? Чтоб етых гадюк никто не ев!» — и тут же понес демонстрировать угрей во двор.

«Что ты ему сказала?»

«Не важно. Сказала, что в этой «гадюке» есть самые нужные ему витамины.

У нас в доме — и в Москве, и в Харькове — лежали пачки трав и лекарств от всех болезней и на все случаи жизни.

«Лель! Мне сказали, як ревматизм лечить. Пойди купи литр керосину, я сейчас приду».

Из магазина папа принес пачек сто швейных иголок,

развернул их и высыпал на стол. Мама, хоть и давно уже ничему не удивлялась, смотрела с тревогой.

«Чего ты? Да мне один авторитетный человек сказал... Ты лучий слуший: надо в етый керосин кинуть вот етый металл, закопать у землю, хай иглы лежать у керосине полгода... А потом мажь себе сустав — и ревматизма як и не бувало. Вот так, детка моя. Чистое народное лекарство».

«Марк! Уже больше полугода прошло... где же твой керосин? Хи-хи-хи.»

«Ах ты ж, мамыньки, совсем забыв».

Пошел во двор, выкопал бутыль. Керосин стал рыжего цвета. Иголки растворились, но не до конца — от них кверху поднималась дрожащая паутина, как будто от затонувшего корабля, который пролежал на дне океана лет сто.

«Лель! Давай ты первая. В тебя ноги болять, а?»

«Нет, Марк, котик, тебе советовали, ты и лечись...»

Папа без охоты помазал себе колени, локти и пошел на работу... «Товарищ! очень пахнет керосином. Как бы не было пожара, здесь же дети». Бедный папа прибежал домой, сбросил с себя одежду, всю в рыжих пятнах. «Хай оно сгорить! Якой позор!» И отнес рыжую бутыль Соне.

А как папа следил за своей внешностью! Каждый месяц мама убирала ему седину и как бы то ни было, но выглядел он лучше мамы. Всегда хорошо одет, подтянут и строен, легок. Ему шли модные вещи, и он с удовольствием их носил. Пользовался успехом у женщин. Мама уже считалась у него пожилой. Ему семьдесят, а маме пятьдесят! Человек, который давал ему лет пятьдесят пять, папе уже не нравился: «У него глаз злой... не-е, он не добрый к людям».

У папы по-прежнему были дружки. Но после того, как он сам перестал курить и выпивать, стал получать удовольствие от того, что поил других, а сам, чокнувшись «за честь, за дружбу», пил «Березовскую» — харьковскую минеральную воду. Потом совал другу в карман деньги на такси и, удовлетворенный, все убирал со стола сам, чтобы не сердить маму.

Но увлекаться стал чем-нибудь еще сильнее и азартнее, чем раньше. Он постоянно был увлечен, «шел уперед», ему было интересно «завтра», а не «вчера».

«Леля, ето уже прошло, иди уперед, назад не оглядайсь. Допустила ляпсус, сделай вывод — и иди дальший... От так, детка моя. Давай дальший, займись новым делом".

Они с мамой проводили массовку за городом. У хозяйки папа увидел в саду два роскошных фикуса.

«Лель! Давай купим фикус у дом! Якая прелесь!»

Фикусы тогда стояли в залах и считались богатым украшением интерьера.

«Лель! Давай! Увесь дворец ахнить! У во дворце такого нема, а в нас будить."

Но мама не захотела категорически.

Утром папа разбудил меня рано, и мы тихо вышли из дома.

«Ета лежень хай ще спить. Увесь мир можеть проспать. Все вже и на работу пошли, и Сонька з базару пришла, а она, як барыня...»

Обычно папа уже в шесть утра поливал из шланга двор, цветы в нашем полисаднике и громко разговаривал со всеми соседями на самые щекотливые темы. Во дворе стоял смех. А потом он пускал в окно струю холодной воды, прямо на кровать с шариками, где блаженно и сладко спала мама,— будил ее. Так начинался день...

Но в то утро мама осталась спать, а мы на поезде поехали за город.

Оказывается, папа уже давно сговорился с той хозяйкой, и она его поджидала. За сто пятьдесят рублей (старыми) мы купили огромный фикус в деревянной кадке.

До станции фикус дотащили еле-еле. А что же будет дальше?

В поезд фикус не влезал. Обломалось несколько листьев, и папа, расстроенный, держал их в руках «про всякий случай». Фикус был объектом общего внимания и удивления: «какое красивое растение!», «ценная штука», «где достали?», «сколько заплатили?», «вот живут люди». Папа сиял.

В трамвай дерево не входило, и мы тащили его через базар по Клочковской от самого вокзала. Папа нес фикус на плече, а я изо всех сил поддерживала его локоть. На нас все оглядывались.

«Щас, дочурка, увидишь, як она бельмы вылупить... А я своего добився. Як поставлю на своем, так и будить. Як же ж ты мне помогаешь, мой сухарек, моя ластушка дорогенькая!»

Я же готова была лопнуть от натуги и счастья, хоть руки затекли, шея онемела.

Через месяц фикус стал желтеть. Потом начали опадать листья. Потом остался один ствол.

Мама была очень довольна.

«Что ж я не так зделав? Я ж за ним, як за ребенком, ухаживав, поливав исправно», — жаловался папа интеллигентному старичку из дворца — старичок этот вел ботанический кружок.

— И как вы его поливали, Марк Гаврилович?

— Ну як. Литровую банку утрушком, полбанки вечером. Лист толстый — хай пьеть.

— Ну, так вы же его, голубчик, загубили. Нельзя столько

жидкости, сгноили растение...

Горевал папа, торжествовала мама, а потом: «Ладно, пошли дальший».

— Лель! Давай сделаем свое вино. Паштетик меня угостил своим вином. Во укусное! Прямо прелесь!

— Давай,— лениво сказала мама.

Папа притащил в дом бутыль на пять ведер. И все — с тем же неослабевающим энтузиазмом, с горящими глазами...

— Ну, теперь усе ахнуть! У Марка свое вино! — Насыпал в бутыль вишен, много-много сахару и стал ждать. Как придет с работы, поставит баян на кухне, и тут же бежит в комнату проверять вино.

«Лель! Уже бродить! Попробуй, укусно як. Ето ж прямо прелесь!» — и закрыл наглухо бутыль огромной пробкой.

"Лель! Хай себе бродить, а зимой усех буду угощать».

Бутыль взорвалась неожиданно, как бомба! Мы ужинали на кухне. «Ах ты ж, мамыньки родныи, погибло вино!»

По всей комнате — на кровати, на полу, на столе и стульях валялись черные вишни. А по стенам и потолку разливались красные струи, как после побоища.

"Эх, говорили мне, что не надо пробкою — хай воздух выходить, не послухав, боявся, что аромат улетить. Во дурак».

"Хи-хи-хи... так закон же не писан», — сказала мама, боясь произнести слово "дурак". Во-первых, она знала, что за это будет, а потом папа был так искренне потрясен...

Долго он ничего не приносил в дом и «пошел дальший» втайне от мамы. Ну, потом она узнала, что папа потихоньку стал сам делать баян. Не маленькие гармошки, а настоящий пятирядный баян — от начала до конца. Не сразу, но получилось! Он ходил к знакомым мастерам — смотрел, а потом ночами мастерил и мастерил. Проснешься ночью, а свет в комнате горит — папа еще не спит, работает.

Среди тишины он вдруг начинал так костерить какую-нибудь несчастную дощечку или пластинку целлулоида, что мы с мамой прятали лица в подушку, чтобы до него не донесся наш смех... Что он говорил? Вот этого не могу описать. Это неописуемо. Вот и все. Во всем этом — мой папа, о котором что бы ни рассказывала, а более ни описывала, — доносишь всего лишь половину или треть, а вернее, во совсем не то... Эх, папу надо было видеть, слышать, знать.

Баян получился прекрасный. Мама притихла. Потом папа нашел клад в голубой кастрюльке. Мама еще больше притихла.

А потом папа решил посадить у нас под окном розы. Пошел в Ботанический сад, тот самый, где я рвала шиповник, договорился

с садовником, все расспросил, все разузнал.

«Теперь я навчився. Все взнаю досконально, а потом вже делаю. Жисть есь жисть».

И в нашем палисаднике, размером два на четыре метра, расцвели розы необыкновенной красоты. Мама замолчала, даже улыбалась, когда приходили к нам во двор полюбоваться папиными розами. Он обнес палисадник колючей проволокой и был «исключительно счастливый», если люди говорили, как само собой разумеющееся: «А-а! Это в том дворе, где баянист с розами живет?" Мама, глядя на то, как папа поливает розы, все чаще напевала «Осень». Папа ведь знал, что розы — мамины любимые цветы.

А когда я уже училась в десятом классе, папа купил себе фотоаппарат «Киев». Это было самое интересное его увлечение.

Папа долго изучал внутренности «Киева». И разобрался только при помощи мамы, которая расшифровывала инструкцию по пользованию фотоаппаратом. Потом папа долго то засвечивал пленку, то никак не угадывал с закрепителем и проявителем. Или щелкал, забыв снять с объектива колпачок. Фотографии были хрупкие, жалкие, скатывались в трубку.

Он овладел этим искусством!

Но каждый раз, когда мы с ним проявляли фотографии, он удивлялся, как первый раз: «Як ето от якой-то водицы на свет выходять люди, лес — усе на свете?..» На фотографию уходила половина папиной зарплаты. Он всех снимал и бесплатно, карточки дарил пачками. За ним ходила толпа детей.

Папа снимал всех сотрудников дворца — у входа, где по обеим сторонам парадной лестницы сидели два огромных льва. А мама была главной папиной моделью. Она сидела и на скамейках, и на стульях, и на траве, и под елкой, и выглядывала из-за деревьев, и склоняла головку к гипсовому дискоболу, и счастливая выходила из воды, и спиной уходила в воду, и даже под папиным натиском садилась на льва. Как же она терпеливо переносила папину железную режиссуру, не допускающую никакой отсебятины и импровизации. Потому он меня и не любил фотографировать — я уже постепенно выходила из-под его влияния... А мама наоборот — все больше и больше становилась похожей на папу. Он ее давил... И в конце концов подавил — она, скрепя сердце, терпеливо ему подчинялась.

«Распрастрите глаза поширей, пожалста! Влыбайсь веселей! Ну! Три-чечирнацать!» — И все: дети, старики, соседи, сотрудники, «кровенные», дамочки, ухажерки, — все на папиных фотографиях весело и жизнерадостно улыбаются!

При помощи аппарата у папы появилась возможность

беспрепятственно знакомиться с теми женщинами, которые ему нравились. На фотографиях они сидели на траве, или на скамейке, или выглядывали на полкорпуса из-за дерева. А на фоне — или клумба с бюстом посередине, или олень с ветвистыми рогами, или девушка с веслом, или мускулистый дискобол с занесенным ввысь диском. Все фотографии — обязательно на фоне какого-нибудь произведения искусства.

«Марк, котик, что-то у тебя этой дамочки очень много... Вообще-то очень приятная дамочка, но почему-то я ее не помню. Кто это, интересно, а?»

«Да видела ты ее, Лель... такая порхавка (поганка) — ничего, абсолютно ничегинька хорошага. Я и сам ее не знаю — вот тебе крест святой! Напросилася, сказала, заплатить. Ну, а если человек просить, разве я могу отказать? Ты ж меня знаешь, я ж человек благородный. Лель! Да я могу ей фотографии и не давать. Як ты скажешь, крошка".

Он никогда не был, как все. Он и не мог, как все. В нем бурлила и кипела кровь до тех пор, пока он не находил возможности «выделиться».

Когда вышла на экраны «Карнавальная ночь», папа и мама стали в Харькове едва ли не самыми популярными людьми. Папе — радость! Если он в центре событий, объект внимания — его хлебом не корми, только дай рассказать про меня, про «концертик у диревни», про чечеточку, про аккордеончик. Он работал перед публикой, как артист, — преображался, перевоплощался, отбивал чечеточку, которой когда-то меня научил, крутился, вертелся...

А мама наоборот. Она перестала ходить на работу пешком — только в трамвае, отвернувшись от всех; стала носить темные очки, что возмущало папу. «Ты гордись, а не ховайся! Это наша дочурка, наша з тобою гордость». Мама ругала папу за то, что он раздаривает всем мои фотографии. Мои фото он дарил со своей личной подписью.

"А что, Лель? Чем ты, крошка, недовольна? Что я не так зделав? Разве у дочурки другая фамилия? Она у Москве, я и расписавсь. Та я ее отец! А тебе, моя детка, кушать поменьший надо, тогда стесняться не будешь. Смотри на своего мужа и бери пример. Вот так вот».

В тот год я приехала к родителям на зимние студенческие каникулы. По дороге с вокзала мама сказала мне, что в моей комнате папа сделал ремонт по своему собственному вкусу. Она просила быть сдержанной и не подавать вида, если мне не понравится, чтобы не огорчать его: «он так старался к твоему приезду...».

Комнату свою я не узнала... На стенах сидели птички с

длинными хвостами. На подоконнике — подводное царство. Вокруг люстры — кружком, друг за дружкой — плавали пушистые золотые рыбки, точно такие, как в довоенном Дворце пионеров в мраморном бассейне. В четырех углах потолка сидели морские чудища с многочисленными щупальцами, похожие на медузу Горгону. А с потолка на стены свешивались длинные ветвистые водоросли — все в розово-зеленой гамме...

Мама давила мне руку, а папа с надеждой заглядывал в глаза. "Ну, як твой папусик встречаить актрису? Поработали на славу, что там говорить. Я такое, дочурка, только у баронським замку видев, а теперь и в нас дома такое. А, дочурчинка?»

У папы был «кровенный» дружок-маляр, по фамилии Беспорточный. «Етый Анатолий Беспорточный — настоящий художник, нарисуить тебе что хош». Сколько же этот Беспорточный попил у папы «за честь, за дружбу!» У него болела совесть, и он постоянно предлагал папе свои услуги. «Спасибо, друг, спасибо. Ще придеть время».

И вот это время пришло. Я смотрела, натужно улыбаясь, благодарила папу, но через несколько дней перешла в другую комнату — там якобы светлее. Папа все понял, и через месяц мама мне написала в Москву, что Беспорточный все перекрасил заново и теперь у нас нормально, как у людей...

Как у людей. С серебряными накатами, готовыми трафаретами. Как у всех. Побелкой занималась мама. Папа к ремонту интерес потерял — он не мог «как у всех".

Даже когда он в 1972 году лежал со вторым инфарктом в больнице, а я приехала из Ленинграда, где снималась в фильме «Табачный капитан», — он попросил маму, чтобы я пришла к нему в самом красивом и модном платье. Уже вся палата и больница знали, что он «отец актрисы».

Я пришла к папе с розами. В палате лежало еще человек шесть старичков и пожилых мужчин. Пахло лекарствами...

Как страшно, неужели папа — мой папа, мой сильный, неистощимый папа может умереть? Сейчас он совершенно другой. Предельно экономный в движениях, взгляд помутневших глаз мудрый, сосредоточенный, трагичный. Таким я его не могла и представить.

Почему такие крепкие жизнерадостные люди в старости становятся немощными и жалкими? Куда же уходит сила? Как это несправедливо! Нет! Мой папа не может быть старым и слабым. Это все временно. А на душе так пасмурно, безнадежно и горько... Как я буду жить без него? Чем?

Папа пошевелил губами. Я поняла, что надо к нему нагнуться, — он хочет сказать что-то, чтобы никто не слышал.

«Дочурка, сделай что-нибудь артистическое». И еле-еле кивнул головой, мол, не стесняйсь...

Мне тридцать шесть лет. Я в мини-платье с люрексом — самом модном, сижу около смертельно больного папы, кругом такие же еле живые старые люди. И сейчас вот, мгновенно должна «сделать что-то артистическое» — ведь все чего-то от меня ждут, ведь я актриса, и ведь папа наверняка уже на что-то намекнул, заверил, и я, вот так, ничего не продемонстрировав, уйду?

— Дорогие мои товарищи, друзья! Я вам так благодарна за внимание к моему дорогому папе, за то, что вы уважаете и понимаете друг друга... Я уверена, скоро вы все поправитесь и вернетесь к вашим женам, детям и внучатам. Как я вам благодарна! — Я искоса взглянула на папу — он доволен, но этого, кажется, для него маловато. Ну, что же, ради моего папочки я всегда была готова на все... - Может, я вам что-нибудь спою?

«Людочка! Мы стеснялись вас попросить, но вот вы какая хорошая. Спойте для нас про пять минут...»

«Пять минут». «Карнавальная ночь». Прошло пятнадцать лет, а больные старые люди просят «Пять минут». Может, это еще не срок для удачной, полюбившейся людям веселой комедии?

Но вот уже прошло двадцать четыре года после выхода картины на экран. Я уже снялась в пятидесяти фильмах, во многих из них пела.

В чем сила и успех картины? Почему эта комедия до сих пор живет?

...1956 год. Лето. Я перешла на третий курс Института кинематографии, мне двадцать лет.

На роль Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь» пробовалось много актрис. Я на пробе пела песню Лолиты Торрес из кинофильма «Возраст любви". Все говорили, что я на нее похожа, и мне это нравилось. Я так ее копировала, что, если закроешь глаза, не отличишь, кто поет — Лолита Торрес или я. Это всех приводило в восторг, а меня еще больше.

Но кинопробы я не прошла. Обо мне на худсовете не было и речи. Роль Леночки начала другая актриса.

...Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии «Мосфильм» в огромной широченной юбке, затянутая в талии так, что Лолите Торрес и не снилось. Голова моя, с колечками и челочкой, была чуть ли не вдвое больше талии. В моде были нижние юбки. Если другие девушки носили одну, то у меня их было две, да такие накрахмаленные, что лучше мне было не садиться... И я весь день была на ногах. Вечером еле-еле

доплеталась до общежития — пешком, троллейбусом, электричкой — и падала мертвая. Зато фасон держала целый день!

Я шла по коридору студии «Мосфильм». На лице у меня было написано: «Все хочу, все могу, всех люблю, все нравится». Навстречу шел Иван Александрович Пырьев. Я его уже видела на студии и сразу узнала. Я и так шла, подпрыгивая, тут еще больше завихляла, еще выше задрала подбородок. Пырьев поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось, будто он увидел диковинного зверька.

— Стойте. — Он развернул меня к свету. — Я вас где-то видел.

— Я пробовалась в «Карнавальной ночи».

— А-а, ну вспомнил. Вы пели...

— Из «Возраста любви». Сама! — тут же добавила я, боясь, вдруг он подумает, что я пела под чужую фонограмму.

— Пела хорошо. А зачем ты так гримасничаешь?

— Ну...

Мы еще постояли, глядя друг на друга. Я нервно переминалась с ноги на ногу, а Пырьев очень серьезно и внимательно глядел на меня.

— А ну, пойдем.

Быстрым шагом устремился вперед, а я вприпрыжку за ним. Мы пришли в третий павильон. Здесь стояла маленькая декорация радиоузла — сцены, где Гриша Кольцов признается Леночке Крыловой в любви при помощи пластинки. Съемок не было. Срочно искали актрису на роль Леночки. Почему не снимали дальше актрису, принятую на роль сначала, я так и не знаю. В павильоне почти никого не было. Пырьев подошел к главному оператору: «Вот актриса. Ты сними ее получше. Поработай над портретом — и будет человек».

Вот так я, негаданно и неслыханно, попала в картину, где не прошла пробы...

На следующий же день я стояла перед камерой в собственном костюме — серой юбке и клетчатой кофте. Костюмы еще не успели перешить на меня. Снималась декорация радиоузла. Юрий Белов играл роль Гриши Кольцова. Ему было двадцать пять лет.

«Что это у нее под глазами черно, как у негра в желудке?» — громко сказал главный оператор. Все — «Ха-ха-ха».

Я знала уже, что меня нелегко снимать. У папы и мамы под глазами были тени и припухлости, они передались и мне.

Вот это группка. Вот это я попала! Хотелось плакать. Я никому не нравлюсь, не принимают. А я ведь еще ни одного слова не сказала — пока только ставили свет...

"Дуй свое, дочурка, иди уперед, не тушуйсь, усех положишь на лупаты — ето як закон!»

Главный оператор своей репликой сбил мою готовность, и я начала «с нуля»: мягко сказала свою первую фразу, улыбнулась...

"Вы извините, что я сказал про черноту. Это шутка — немного неудачная. А вы актриса. Меня зовут Аркадий Николаевич».

"А меня Люся».

И мы навсегда стали большими друзьями.

"Карнавальная ночь» была экспериментом для всех членов группы. Сценарий Б. Ласкина и В. Полякова несколько лет никого на студии не мог заинтересовать и валялся по ящикам — теперь он в работе! Режиссер Э. Рязанов делал свою первую художественную картину — до этого он работал в документальном кино. Игорь Ильинский снимался в кино после длительного перерыва. А мы с Юрием Беловым впервые попали на главные роли.

И в самом сюжете фильма — тоже эксперимент. Извечный конфликт старого и нового. Побеждает новое — новая музыка, новые гармонии, новые джазовые оркестровки. Если учесть, что музыкальных фильмов тогда почти не было, удачных тем более, а джаз (и вообще что-то в этом духе), мягко говоря, не поощрялся... то понятно, почему эта тема в фильме была близка всему коллективу. Мы искренне и азартно высмеивали надоевшее старое и косное. И, конечно, главную партию здесь вело по-настоящему смешное, яркое и неповторимое исполнение И. Ильинского. Для всех нас эта картина была важным этапом в жизни. Собрались люди молодые, радостные, любящие музыку, шутки, юмор, умеющие искренне радоваться жизни. Вот эта наша общая радость, свет, желание победить смешное и опостылевшее старое и льются с экрана к зрителям... Картины никто не ждал, она не рекламировалась. Просто вышла 28 декабря — под Новый год.

Шефствовал над «Карнавальной ночью» И. А. Пырьев — тогда художественный руководитель студии «Мосфильм». Он-то уговорил и вдохновил Э. Рязанова на эту музыкальную комедийную картину. Иван Александрович смотрел каждый отснятый эпизод, если он был неудачным, заставлял переснимать. Так, «кабинет Огурцова» — встреча с Огурцовым—Ильинским — был переснят трижды, пока не получилось. Иван Александрович давал важные советы о ритме и темпе в комедии, сам прослушивал музыку и песни А. Я. Лепина. В кабинете Пырьева Лепин показывал песни, а я их пела. Анатолий Яковлевич написал такую замечательную лирическую песню о любви! Но Пырьев прослушал ее и сказал: "Песня хорошая, но не из этого

фильма. А музыку не бросайте, используйте». И тема этой песни звучит в музыкальном номере «Танец с зонтиками».

Впервые картина была снята в интерьерах, а не в павильоне. Было лето. Театры разъехались на гастроли. И добрая половина фильма делалась в коридорах и фойе театра Советской Армии. И дешево и быстро. Там же и был переснят объект «рад. узел», в котором я участвовала в свой первый съемочный день в этой группе.

«Карнавальная ночь» была завершена в рекордный по тем временам срок - за пять месяцев.

Многое было впервые. Звукооператор Виктор Зорин записал меня в «Песне о хорошем настроении» отдельно от оркестра. Сбежались смотреть все работники звукоцеха. В тонзале оркестром дирижировал Эдди Рознер, а я пела под простейший наушник, слушая в него оркестр, а поддерживала меня и вдохновляла музыкальный редактор Раиса Александровна Лукина.

Эксперимент был во всем. «Карнавальная ночь» получилась удачной по всем компонентам: сценарий, режиссер, композитор, оператор, звукооператор, оркестровки Юрия Саульского, актеры. У всех в творчестве пик. И так получилось, что у Б. Ласкина и В. Полякова — это лучший сценарий, снятый в кино. У Э. Рязанова самая оптимистичная и живучая музыкальная картина. У Лепина — самая удачная популярная музыка. У Игоря Ильинского — самая большая в кино удача после «Волги-Волги». У нас с Юрием Беловым после «Карнавальной ночи» началась биография в кино.

Сценарий был написан на Игоря Ильинского. У него была острая и гротескная роль. На ней держался фильм. У нас с Ю. Беловым роли были голубые, подсобные, в них все решала наша собственная индивидуальность. В «Карнавальной ночи" у Юрия Белова, как нигде в другой картине, проявился его редкий трагикомичный талант.

...Я смотрю на фотографии папы, мамы, свои. И невольно улыбаюсь и чувствую острую щемящую ностальгию по тому неповторимому времени.

Мне никогда не было скучно и неинтересно в доме — с моими родителями. Всегда что-то новое и обязательно радостное — «дальший и дальший». В нашем доме была удивительно здоровая атмосфера. Все — и плохое, и хорошее, и страшное, и горькое — все открыто! Никто не стеснялся быть слабым. Если кому-то плохо, прекращались шутки, и все силы, нежность и любовь бросались на того, кому тяжело. А потом опять шли «дальший». Я выросла в странной, сумбурной, бессистемной и, может, неразумной, но чистой, доброй, широкой и абсолютно

иррациональной семье. Огромная моя страсть стать актрисой непрестанно подогревалась папой. Он в меня верил. Я к своей мечте шла прямо, без сомнений и раздумий, вбирая в себя по дороге все необходимое.

Такой я и пришла прямо на экран. Искренней, верящей в добро, жизнерадостной, полной сил, с желанием непременно «выделиться». Какое счастье я испытала, когда в черном платье с белой муфточкой пела «Песню о хорошем настроении"! Ведь именно об этом я мечтала в те голодные и страшные вечера в детстве, когда мы с тетей Валей в упоении, среди боа и вееров, мурлыкали мелодии из «Большого вальса».»

«Карнавальная ночь» — это итог моей двадцатилетней жизни с родителями!

И больше я такой не была.

Никогда.

Потому что на следующий же день на меня обрушилась слава. Оглушительная. К которой я не была готова. Слава меня изломала и оставила в полном недоумении. Сколько раз потом, по глупости, в других картинах я пробовала повторить Леночку Крылову. Получалось жалкое подражание себе самой же. Разочарование в публике. Постепенный переход во «второй сорт». Подхватить меня, научить, помочь, посоветовать, поддержать — было некому, родители жили в Харькове. В Москве я была совершенно одна. Я стала бояться людей.

Как неправильно, когда слава приходит к молодому актеру! Он еще ничего не умеет, он еще сырой материал. После огромного успеха от тебя ждут чуда, а когда ты делаешь то же, чему все недавно так радовались, — разочарование...

О тебе нафантазировано больше, чем ты есть. Вот это и есть «слава». Твоя жизнь со славой — это совершенно новая жизнь. Ты должен думать и о себе, и о ней. Нужно быть в десять раз бдительнее, чем вчера, когда ты жил без такой коварной подруги. А я еще долго жила, как раньше, — одна. И слава мне мстила. Когда я поняла все это — было уже поздно. Теперь я боюсь рекламы, шума, интервью. Я вижу, помню, как я барахталась одна со своей славой тогда... И повторов боюсь. Как боюсь повторов душевной и физической травмы.

Между «Карнавальной ночью» и «Старыми стенами» — семнадцать лет... Я долго сидела дома и мучительно соображала, как мне теперь быть, с чего начинать. Потом ездила с концертами, где неизменно пела из «Карнавальной ночи», бросилась в театр «Современник», но не прижилась. Потом писала песни, которые пела в концертах, но когда показала их на радио, то мне сказали: «Зачем вам песни писать? Снимайтесь себе в

кино...» Потом поступала в Театр сатиры, но худсовет театра смотрел на мой «показ» ледяным глазом, и вопреки всем правилам я показ прервала. Поняла: Театру сатиры я не подхожу.

Выходили на экраны фильмы, где у меня были небольшие удачи и полуудачи, инерция числить меня «вторым сортом» была так велика, что несколько удач не изменили отношения ко мне... Сколько же меня бросало по житейским волнам... И потому в новую волну в кино я пришла с новым дыханием, не просто так, а через собственные ошибки, провалы, поиски, взлеты, падения, болезни и терпение. Но во мне все эти годы жила вера, что я буду работать в полную силу, что я выйду из "второго сорта».

Я не смогу жить иначе.

# ПАПА

В 1969 году маме оставалось несколько лет до пенсии, но папа решил: «Леля! Ты у самом разгаре (успехе). Нам надо щас, и только щас уходить з работы, время вже кончилося. Уходить надо раньший, пока тебе не сделали намек, у людей будет добрая память про нас. Ты вже не та, он як расползлася... Ну не в етом дело. Мне что? Я играв и играю. А ты у кругу стоишь... Не, дочурка, послушай, она мне говорить на массовке: «Товарищ баянист, играйте помедленнее, пожалуйста». Это ж кому рассказать! Родному мужу говорит: «Товарищ баянист"! Усе ж дети знають, что мы твои мать и отец. Ей, значит, помедленней, она еле ходить... А детям як? Это ж дети, ребята — скорые, чуковные. Сегодня помедленне, а завтра что делать товарищу баянисту? Не, Лель, не, детка, крошка моя ненаглядная, это больно, но это жисть... Мы с тобой честно усю жисть поработали, а теперь надо ехать у Москву. К дочурке. Теперь дочурка наша главная опора. И ей надо по хозяйству и с Машею помочь. Будем переезжать в Москву».

В сентябре 1969 года они переехали.

Папа трагически переживал то, что я не снимаюсь.

"Ничёгинька не понимаю. Танцуить, поеть, на аккордиончике и на пианини играить. Хочешь — драму, заплачить, хочешь — комедию. И дома сидить. Усе работають, а она не. Дочурка, ты мне что-то не договариваешь. Наверное, ты допустила крупный ляпсус, и за ето тебя не беруть в кино».

"Нет, папа, нет же».

"Ну, а тода у чем же дело? Чем ты хужий?»

А я и сама не знаю... Знаю, что надо держаться. А у него на все были свои ответы.

Объясняешь ему, что нет роли...

"Як это для тебя нет роли, когда ты усе вмеишь?»

Что прошла мода...

"Якая такая мода? Як талант, то всегда у моди».

Что другая тематика...

«Так надо пойти у студию, подсказать им тематику».

Что для музыкальных девушек я уже постарела...

«Лель! Что она говорить?! Да ты, дочурка, як прибодрисся, да подкрасисся, тебе як семнадцать!»

А в драматической роли меня не видят...

«А ты сделай так, чтоб увидели. Скажи: дайте я вам сыграю любую драматическую роль. И режиссер тогда глаза распрастреть! Во як надо, боевито!»

Мой папа был так далек от сложной и запутанной жизни на студии! Я не могла ему объяснить. Доведет меня до слез, закроюсь в своей комнате и уже не рада, что родители переехали. А я так надеялась, что будет легче. Привыкла одна...

Мама все понимала и очень меня поддерживала, но и папу защищала: "Ты его тоже пойми. Он ведь так страдает. И по-своему он ведь прав».

Папа внимательно следил за всеми актрисами, о которых писали в газетах и журналах, не пропускал их фильмов, пытался сам во всем разобраться.

В то время мне очень нравилась одна актриса — самая популярная и красивая. Все ее роли были интересные, она казалась не по годам умной. А лицо у нее — как на полотнах Боттичелли. Я могла долго, не отрываясь, смотреть на ее чудесное лицо.

«Папа, сегодня к нам придет самая красивая актриса!»

Папа приоделся и стал ждать. Когда она пришла, он с ней поздоровался и ушел в другую комнату. А мы сидели у меня, разговаривали, смеялись, я пела ей свои песни. Потом я вошла к папе и спросила: «Ну, как тебе, пап? Правда, она чудесная?»

«Кто? Во ета девычка? Это она и есть?» Он ждал большую русскую красавицу с косой. А эта очаровательная молодая женщина была хрупкой, высокой, стройной, в коротеньком платьице, и никак не походила в его представлении на кинозвезду.

Папа замялся, а потом, чтобы меня не огорчить, неуверенно сказал: «Не-е, она приятная... Лицо востроватое. И глаза як стекло».

Когда он успел все разглядеть? Он же ее видел лишь мимоходом, здороваясь. Я потом еще внимательнее смотрела на ее лицо. Глаза распахнутые, необычные, очень красивые. А вот подбородок действительно «востроватый»... Глаз у папы меткий, все подмечал мгновенно; характеристику он давал точную, как реприза в эстраде, — в двух словах.

Но актрису с «востроватым» лицом на следующий же день пошел смотреть в кино. Чем-то она ему все же приглянулась. Вставал он очень рано и в кино ходил на первый сеанс, пока мы с мамой еще спали.

«Лель, ну посмотрев я ету девычку. Она неплохо справилася. Хотя она и не танцуить и не поеть. Только говорить...»

«Марк, это замечательная актриса! У нее есть свое лицо. Совсем не обязательно ей бить чечетку...»

«Во-о! Здорово, кума! Куда заехала. Оставь, Леличка, бога ради. Актриса должна уметь усе. На то она и актриса».

В гостях у меня побывала Кира Муратова. Мы с ней вместе учились у Сергея Апполинарьевича Герасимова в Институте кинематографии. У нас была объединенная мастерская актеров и режиссеров. Кира была режиссером. И я часто играла на курсе в работах, которые режиссировала она. Мы давно не виделись, и нам было что вспомнить, о чем поговорить.

К нам заглянул папа.

— Извиняюсь, не помешаю?

— Нет, что вы, наоборот. Люся о вас так много рассказывала...

— Ето она можить. Про родного отца наговорить, чего, можеть, и не надо. А ты чечеточку бьешь?

— Что?

— Чечеточку, говорю, бьешь?

— Н-нет...

— А на аккордеончике играешь?

— Н-нет...

— А Люська усе чисто умеить. И чечеточку, и на аккордеончике. Ну, я пойду, чайку поставлю...

— Пап! Так Кира же не актриса. Она режиссер!

— Ах ты, мамыньки родныи! Я вот так близко и не видев женщину, якая режиссер. Я хочу у вас попросить... Знимите меня у кино! Хай у Харькиви и у диревни меня увидять! Я любую роль могу зыграть — што хош. Дочурка — она ж в меня!

Кира смотрела на него, и я видела, что папа ей чрезвычайно интересен. И она сказала, что хотела бы его снять.

— Вы знаете, если только у меня будет картина, мы обязательно с вами встретимся. Обязательно.

Но в работе у нее тоже долго не ладилось.

"Лель! Я тебе говорив, что я еще ув историю попаду? Сегодня до Люси режиссер приходила. Баба, такая... ничегинька особенного. Они з Люсюю уместе в Герасимова вчились. Знаешь, она в меня прямо улюбилася. Говорить: «Як это я раньше з вами не познакомилася. Такой артист пропадаить».

В 1978 году я снялась в небольшой эпизодической роли в фильме Киры Муратовой «Познавая белый свет». Она мне показывала отснятый материал. На экране шла сцена знакомства главного героя с характерным, эксцентричным вторым героем. Главный герой называет имя и ждет ответа. «А ты чечеточку бьешь?» — отвечает второй герой. В просмотровом зале раздался смех. И на экране этот второй герой стал проделывать замысловатые каскады чечетки...

— Кира! Как здорово! Приглашали балетмейстера? Правильно, ради этого стоит. Прекрасный ход! — Я хохотала от

удовольствия, а потом вдруг осеклась и посмотрела на Киру.

— Узнала?

Я заплакала...

Папа собирал вырезки из газет, где было написано про меня, — и хорошие рецензии и плохие — и аккуратно их подклеивал. Папа не пропускал ни одного моего фильма в повторном прокате.

А когда я с 1963 по 1966 год работала в театре «Современник», папа с мамой специально приезжали в Москву, чтобы посмотреть спектакль с моим участием. Где бы папа меня ни видел: в кино, по телевизору, в концерте или слушал по радио, он плакал. В «Современнике», играя на сцене, я каждую минуту чувствовала, что сейчас он плачет и что в темном зале мелькает его белый платок.

В спектакле «Голый король», по пьесе Евгения Шварца, я играла гувернантку. Это характерная роль. Длинный острый нос, черный парик, скрывающий лоб до бровей, вместо глаз — черные точки.

В антракте мама объясняла папе суть пьесы... А в конце спектакля, когда все выходят на поклоны, папа чуть не разрыдался, еле сдержался в театре:

— Леля! Что же это? Не могли ей роль якую подобрать? Вышла на сцену у самом конце, покланялася, и усе. Не могу, Лель, жалко дочурку...

— Марк! Люся играла одну из интересных ролей. Ты что, не узнал Люсю? Она играла смешную гувернантку, ты же смеялся, Марк.

— Во тую, что з длинным носом? А, мамыньки родныи! Ах, ты ж моя птичка дорогенькая! Смотри, родную дочурку и не познав. Во, брат... — А меня потом просил, чтобы я больше таких уродов не играла: «Хай етих уродов другим дають, хай поищуть. А ты в мене красивая, ззящненькая».

В программках, среди действующих лиц, в конце было написано: девушка — Гурченко, прохожая — Гурченко, манекенщица — Гурченко, девушка с монеткой — Гурченко. «Тебе з етага театра надо втикать. Тут в тебя ничегинька не выйдеть». Папа первый произнес мои мысли вслух.

Но я ждала. Надеялась на роль... А потом отболело. И я ушла из «Современника. Ушла в никуда, зато с легким сердцем. А жаль. Большой заряд пропал. Но жизнь в театре меня закалила. Я не жалею, что работала в «Современнике".

Я много ездила по стране с концертами, неизменно пела про «Пять минут". Больше всего боялась вопросов: «Где вы сейчас снимаетесь? Почему вы не снимаете таких фильмов, как «Карнавальная ночь»?» Как будто я их сама снимала. Что-то

говорила, отшучивалась...

Заработаю в концертах денег, приеду в Москву, а работы по-прежнему нет. «Звонили мне?» Папа и мама сразу меняют тему, что-то возбужденно рассказывают, я им подыгрываю... А все втроем думаем об одном: «Не звонили». Ну, что ж...

Пойду в комиссионный магазин, куплю красивую тарелку, повешу ее на стенку — и долго на нее смотрю.

«Надо, дочурочка, иметь про черный день, а ты на ерунду... Надо копейку беречь. Вон як она достается, вся осунулася...»

«Хи-хи-хи, с каких это пор ты, Марк, котик, стал такой бережливый?»

«Утикай, я сейчас з дочуркую разговариваю».

«Папочка, дорогой, а кто первый начал? А бронзовое зеркальце, а бирюзовое платье?»

«Эх, того платтика никогда не забуду! Ето я тебе настоящий вкус привив. Что то да, что там говорить. А теперь, дочурка, такое время, работы у кино нема, надо продержаться, а ты усе стены тарелками позавалила! Хай воздуху у доме больший будить».

Когда ко мне приходила моя подруга Надя Мухина, папа ее водил по комнате и рассказывал, как экскурсовод: «Во, Надь, глянь, что она делаить. Вот за етого пацана вчера двадцать рублей улупила!"

«Пацан» — это небольшая миниатюра на фарфоре «Павел Первый в детстве со щеглом в руке».

А еще раньше у меня в доме появилась картина, на которой ангел-работник летит строить божий храм. В одной руке у него клещи, в другой молоток. Папа рассматривал картину, удивлялся, что она написана не на полотне, а на дереве.

«Марк Гаврилович, а почему он с клещами и молотком?»

«Надь, я сам смотрю на него, смотрю. Думаю, ведь ангел, ведь ребенок еще, а вже слесарь». — И тут же краем глаза наблюдал за реакцией. С тех пор у нас картина с ангелом так и называлась «Слесарь».

«Марк, — говорила мама во время ремонта, — не разбей «пацана»! А "Слесаря» будем перевешивать в другое место?» И никто уже не смеялся. Привыкли.

Надя Мухина папе очень нравилась. Эта обаятельная женщина со вздернутым носиком и прелестной улыбкой по профессии инженер. Она так внимательно слушала папины рассказы, так искренне смеялась, что лучшего собеседника для него и представить было нельзя. В Москве у него друзей еще не завелось, и он страдал без общения. Кроме того, Надя еще была и «дамочка» в папином вкусе. И он ее ждал.

«Почему Надя до тебя не приходить? Может, она на что-то

обиделася?»

«Да нет, папа, не выдумывай».

Приходила Надя. Все папины болезни как рукой снимало. Он был здоров и весел. Угощал Надю чаем, медом, настоятельно советовал пить молоко. И невозможно было поверить, что пятнадцать минут назад он просил маму поставить банки, заварить траву, кряхтел: «Вот уж точно не сегодня-завтра помру. Останисси одна, тогда успомнишь Марка. Такога раба больший в тебя не будить. Ну, ты одна не задержисся, дай тебе бог счастья. А мне пора на покой...»

А сейчас с Надей он был такой молодой и красивый. Мы с мамой старались не «делать акцента» и давали ему полную свободу. А сами сидели на кухне.

И доносились к нам из комнаты знакомые папины рассказы, которые перемежались взрывами Надиного смеха. Надя так оригинально смеется — она сразу, вдруг без разгона, надолго повисает на высокой ноте, а потом уже делает разгон: Ха-ха! ха-ха-ха». И папе эти взрывы очень нравились. Он еще круче заворачивал, чтобы почаще слышать Надин смех.

Папа три раза рассказывал ей про Германию, баронский замок и про Рокоссовского, а потом шепотом про шахту, свою буйную молодость, про «етага брата" (кивая в сторону мамы), которого в то время у него сначала были сотни, а потом «четыреста штук». И опять: «А-а-а! Ха-ха! ха-ха-ха».

"Марк, а почему ты не сообщил Наде, что родился на грани двух веков? Хи-хи-хи...»

"А она меня и не спрашивала. Ей ето не важно. Я свой возраст не скрываю. Я родився 23 апреля 1899 года у день святого Марка. Ето и бог, и люди знають».

Надя собиралась уходить, и папа начинал нервничать...

"Ну чего тебе иттить? Уже ночь на дворе, оставайся в нас. Муж твой у командировке, а ты, як верная жена, — у подруги».

Утром он будил Надю на работу. Готовил чай — уже бритый, причесанный, свежий. Напевал свою любимую частушку:

Эх, сыпь, кума, ладь,
Кума, дела не подгадь...

А когда Надин муж возвращался с гастролей — он музыкант, и я много работала с ним в концертах, — папа с ним выпивал «за честь, за дружбу». Себе подливал минеральной, ну, а Надиному мужу — водочку. Папа ему рассказывал, какая у него верная «испутница жизни», как же она ждала своего муженька. «Она тут нас усех позамучила... все Юрик да Юрик, Юрик да Юрик... Прямо

жить без тебя, Юрик, не можить».

Юра расплывался в улыбке, таял, чувствовал себя неотразимым. А Надя смотрела на меня в недоумении. «Когда я говорила «Юрик»? Я его вообще ни разу в жизни Юриком не назвала...»

"Марк! Что ты болтаешь? Вечно ты лезешь не в свое дело. Это семья».

"А что я такого сказав? Что верная жена ждала своего мужа? Так ето так и есть. Она была в нас, никуда не ходила. А ему радость. Ты видела, якой он был радый? А? То-то. Надо людям радость делать. Хай усе будуть радыми! Ты бы мне банки поставила, а то зразу насыпалася. Вот не сегодня-завтра помру, тогда успомнишь Марка. Такога раба больший тебе у руки не попадеть...»

Когда родители стали жить в Москве, первым делом папа захотел пойти в Третьяковскую галерею — близко рассмотреть, как Иван Грозный убивает своего сына.

Мы с мамой пустили его вперед, а сами пошли следом. До «Грозного» много залов. И папа, забыв о нас, окунулся в незнакомую, интересную жизнь. Он подходил к картинам, читал надписи, опять отходил, ухмылялся, потирал руки, хмурил брови, улыбался, шептал, искал нас глазами.

"Иван Грозный» привлекал к себе много посетителей. Папа смотрел на картину долго. Рассматривал ковер, глаза Грозного.

"Вот так бы и меня батька тогда, если б не осечка, дочурка».

Я не знала, что мне делать. Или быть рядом с папой, у которого испортилось настроение, или успокаивать маму, которая плакала в соседнем зале. Она даже не замечала, что на нее обращают внимание.

"Шахта, деревня, война. Он ведь ничего не видел... Не могу, так его жалко... Счастлив, как ребенок. Не знаю, что со мной. Все время плачу — жалко...».

Бедный мой папочка! Всю жизнь он хотел отрастить живот, «як у буржуя, у помещика» — но он не поправлялся.

Мечтал приобрести «летчискую куртку, як у Чкалова», — но кожаные куртки не продавались.

На первом этаже музея настроение у папы уже наладилось.

"Лель, а это что за куча?»

"Где ты видишь кучу, Марк?»

"Ну, во ета».

"Марк, котик, это же скульптура из дерева».

Папа подошел ближе: «Лель! Да это дидок з сопилкую. Во мастер! Это руки! З одного полена вырубив... Як? Ко-нен-ков! Ну, спасибо... як же ты меня порадовав».

Шли домой через мост, мимо кинотеатра «Ударник», папа рассуждал об искусстве.

«Это великое дело. Усе давно повмирали, а я смотрю, что сделали руки. Это навеки. Главное у жизни работа. Ты помрешь, а работа твоя стоить и говорить людям за тебя».

Когда мы в 1972 году снимали дачу в Шереметьеве, папа увидел в заброшенном сарае доски. На следующее утро он уже мастерил замысловатые скамейки "для двох», «для компании», «для одинокага». Его изделия и сейчас украшают двор той дачи. Когда кто-нибудь садится на красивые прочные скамейки, хозяева с удовольствием комментируют: «Это, знаете, в 1972 году нам смастерил Марк Гаврилович. Редкий человек».

«Лель, закрути внученьке волос на бигуны и купи ей новые колгоспы. Мы завтра з ею у фотографию пойдем. Хай ей будить память. Она з дедушкую».

Папа прекрасно знал, что надо говорить «бигуди» и «колготки», но это были нерусские слова. Несерьезные, глупые, он чувствовал, что из них можно вытянуть смешное. Он их и перевернул на свой лад: бегуны и колгоспы.

Мы долго не могли дать имени карликовому пинчеру, которого я купила папе. По предложению актрисы с «востроватым лицом» мы его назвали Федором. Папа был возмущен!

«Як можно поганить русское имя! Это грех. Собака есть собака». И назвал свою любимую собаку Эдик.

Федя — это русское, а бигуди, колготки...

Папа уже умер, а Эдик-Федор все еще ждет своего хозяина... При нем мы не произносим имя «Марк». Пинчер лает, зовет Марка, ищет его... Вот уже семь лет!

«Внученька, моя богинька, моя клюкувка. Вот дедушка умреть, а ты ему цветики на могилку принесешь, поплачешь, и дедушке легчий станить». Везде после папы оставался след, память, истории...

«Чтобы не сидеть у дочурки на шее», папа, против нашего желания, устроился работать ночным сторожем. Служебным собакам возил колбасу и сахар, даже в выходные дни. И за свой счет на работе сам сделал всю проводку, заменил всюду лампочки. Там уже давным-давно работают другие, а папины лампочки все горят. И всем светло!

Он любил меня, свою внучку Машеньку, обожал своего карликового пинчера Эдика-Федора... Но больше всех на свете папа любил маму! При ней он был весел, жизнерадостен, любил «кровенных», увлекался «приятными дамочками», но! мамы не было — на душе у папы был мрак. Когда она задерживалась в городе, у портнихи, он уже нетерпеливо ходил по квартире, по

двору, по Клочковской — туда-сюда, туда-сюда. «Ну что у швейки так долго делать? Вже три плаття можно пошить... ее ж усе ждуть. Во, якой несознательный человек».

Если мама уезжала в санаторий, он ей писал такие жалостливые письма, что мама, не отбыв до конца срока, приезжала домой и больше в санаторий не собиралась. А в 1959 году у меня родилась Маша. И мама приехала в свой отпуск ко мне в Москву. Мы с ней были так дружны, мне было легко с ней. И вдруг через неделю приходит срочная телеграмма из Харькова: «Леля. Выезжайте немедленно. Марку очень плохо. Соня».

Мама сразу почернела, побежала на вокзал и уехала первым же поездом в Харьков. А через три дня пришло от нее письмо: «Я неслась с вокзала. На ходу выпрыгнула из трамвая, думала, разобьюсь. Ведь у него с сердцем — ты знаешь. Он может в любую минуту... Уже около ворот слышу баян, и папа заливается частушкой. Представляешь? Паштетик в гостях, играют в два баяна. Я как вскочила в комнату! Представляешь, какое лицо у папы, когда его застают врасплох? Я к Соньке — думала убью ее. «Леля! Я не виновата! Он же вчера болел. Я ему только что банки ставила, а сейчас он уже поет».

Все остальное я уже знаю. Я слышу, как тетя Соня говорит: «Он же самашечий! Вы все самашечии! И зачем я только его послушала! И наверху соседи самашечии... Те — просто кусок Гитлера!» Я вижу своего папу — опять несчастного, больного, слабого. Я слышу, как он говорит: «Лялюша, прости. Я вже не мог дождаться. Аккынчательно без тебя присох. Думав, ты ще не скоро соберессся. А ты вже вОна. Вже и дома. Ах, ты ж, крошка моя ненаглядная». И мама уже забыла про телеграмму, про поезд, трамвай и про то, как она услышала баян и папину любимую частушку:

Эх, сыпь, кума, ладь,
Кума, дело не подгадь!
Ах, сыпала и ладила,
А дело не подгадила!

Я живу в Москве самостоятельно уже двадцать семь лет. Часто очаровывалась, преклонялась, восхищалась. А потом проходило время — и я удивлялась, неужели этот человек мог меня восхищать?

В Институте кинематографии я восхищалась одним человеком. Когда я его впервые увидела в студенческой столовой, у меня чуть поднос не выпал из рук: «Высокий, чернявый сокол». Таких красивых и совершенных людей я видела только в детстве

на экране. Он пел, играл на гитаре, был умен, неожидан, остроумен и очень популярен среди женщин в институте. Я стеснялась своей провинциальности, была зажата; я даже не слышала о существовании того, о чем он смело рассуждал. Он цвел таким буйным и роскошным цветом, что никого вокруг не оставлял равнодушным. Всех в себя влюблял. И меня тоже.

Прошло время. Он располнел, поседели виски, поредели зубы. Никто бы не поверил, что не так давно он был неотразим. Очень изменился. А как заговорил! И юмор, и остроты, и рассказы, и небылицы, и претензии — те же, как будто слышишь все в том же 1958 году. Он весь, вместе со своими историями и гардеробом, остался там, в шестидесятых годах. А время ушло вперед.

А были в институте и другие. Приезжали из деревни или из небольшого провинциального городка, ходили тихо, стараясь не бросаться в глаза, даже вызывали удивление — почему их вообще приняли в Институт кинематографии? За что?

Проходили годы. И они становились лидерами в кино.

Мой папа в искусстве ничем себя не проявил, а о лидерстве и речи нет... Но тот, кто его узнавал, сразу понимал, что имеет дело с человеком незаурядным из самой гущи народа.

Есть люди, которые, видя, что собеседник умнее, тут же круто меняют свои убеждения, подстраиваются к другой точке зрения. Они окручивают умного собеседника, как плющом.

Папа никогда не юлил, не был подобострастным, на все имел личное мнение и говорил, что думал, говорил открыто. И умные люди восхищались его речью, им не мешало отсутствие у папы большой эрудиции. Он все компенсировал своей неповторимой самобытностью.

В Москве папа очень скоро сориентировался и больше не задавал мне глупых вопросов «про кинематографию». И верил в меня теперь даже больше, чем раньше. "Терпи, дочурка, твое время ще придет... Значит, судьба твоя такая. Хорошага человека судьба пожметь-пожметь и отпустить. Твое счастье упереди. Вже скоро. Вот-вот..."

Весной 1973 года я неожиданно начала сниматься сразу в трех интересных ролях. В фильмах «Дети Ванюшина» и «Открытая книга» — во второстепенных и в главной роли в фильме «Старые стены».

Двенадцатого июня я приехала домой со съемок фильма «Старые стены». Я хорошо помню, что это было двенадцатого июня 1973 года, потому что этот день был последним, проведенным с папой. Через пять дней он умер. С утра он помылся в ванной, в горячей воде, как всегда. Я его покормила,

рассказала о работе, о здоровье... Он был «радый», что я с ним, что я наконец-то приехала.

Он попросил сделать музыку потише.

— Что это теперь за музыка! Так гремить...

— Папочка, это опера «Иисус Христос».

— Як? Опера про бога?

— Да, американская рок-опера.

— Во, что вздумали американцы. И в опере до бога добралися!

Это его очень заинтересовало. Папа, розовый после «бани», в сатиновых трусах до колен — в модных ему было холодно (он даже волосы не стриг, носил по-модному, но трусы — только длинные), сидел на хрупком старинном диванчике. Над головой висел «слесарь», на руках у него сидел Эдик, на столе я поставила перед ним молоко и мед. Папа жадно слушал эту странную музыку. Я ему говорила, о чем идет речь, и ждала, что ему вот-вот надоест. А папа все слушал и слушал.

— Уничтожили хорошага человека. Як моего брата Мишку... Я етага Иуду на кусочки бы порезав. Загубили душу христианскую... загубили русскага человека...

Потом он лежал на моей кровати с Эдиком.

— Да! Дочурка, дай я запишу названия картин. Расскажу про твои фильму Чугуну, Партизану. Память стала не та, усе не то... Так. Есть. Записав. Да-а, что-то я тебе все хотев сказать. А! Во что. Не те, не те роли ты играешь, дочурка, не те. Все яких-то, словом, не то. Тебе бы щас хорошую роль оборонную! Во ето було бы дело.

— Да вот, папа, в этом фильме — «Старые стены» — я играю... не оборонную, правда. Хотя для меня она «оборонная». Не знаю, как играть директора? То ли я делаю?

— Якого директора? Настоящего директора? Ну, дочурка, это ни к чему. Люди не поверять. Не. Кто режиссер?

— Трегубович. Виктор Иванович.

— Иванович? Значить наш, смоленский. Як мой брат Иван. Да-а. Я б на его месте не рискнув. Это як билет счастливый в игре вытянуть — большой риск. Смелый парень. Сколько ему лет?

— Столько, сколько мне.

— Ну, ще молодой. Хай рискуить.

— Пап, тридцать семь лет — это уже совсем не молодой.

— Ну, дочурка, ты як оденесся, подкрасисся — тебе як семнадцать.

Я рассказала папе, что весь худсовет «Ленфильма» решил, что моя проба лучшая и что все-таки это не моя роль. А где же моя

роль?

Такой же точно вопрос задал худсовету Виктор Трегубович.

— Если проба лучшая, значит, эта актриса и будет сниматься. Меня не смущает то, что она снималась в комедии. Это даже интересно. Я ее видел в «Рабочем квартале», в пробах...

И я стала директором.

Я папе всегда пересказывала сценарий, делилась с ним сомнениями, возникавшими в работе над ролью. Папа, сам того не понимая, мог одной репликой попасть в самую сердцевину роли, одним словом определить ее суть. Так было и тогда, двенадцатого июня 1973 года.

«Тот, что кричить, бьеть по столу, а тебя по плечу шлепаить: «молодец, голубчик, молодец» — это не директор. Не. Такога люди не уважуть. Хочу придти до своего директора с душой нараспашку. Во это человек».

Следующим объектом, который должен был сниматься в «Старых стенах», «кабинет директора фабрики». Этого объекта я больше всего боялась.

Нет, нет, я не стану кричать, не стану бить кулаком по столу и снисходительно хлопать по плечу. Пусть меня не боятся мои работницы, пусть они приходят к своему директору с «душой нараспашку». Пусть мой директор не будет «начальником» в обычном представлении.

Мой директор будет говорить тихо, будет теплым, человечным, верящим в энтузиазм — как мой папа. Он ведь тоже из старых стен. Он тоже старая гвардия. Рядом с ним выросли новые молодые музыканты, которые играют лучше его. Играют, "як звери», но без души, не любя сердцем свою работу, свое дело, детей, как папа.

Есть в жизни высокие, непреходящие ценности. Вера в энтузиазм, щедрая душа, неравнодушие, любовь к людям, духовность, любовь к Родине...

— Дочурка, як ты считаешь, если ты з етим директором справисся, «народную» дадуть?

— Опять? Я же тебя просила, папа...

— Мне так хочется, дочурка, дожить до «народной». Народная актриса! Значить, дочурка, увесь народ любить...

# В МОСКВУ

Я зрела и развивалась стихийно. Война, голод, оккупация, трудности способствовали раннему созреванию во мне взрослых качеств: быстрой ориентации в обстановке, умения приспособиться к трудностям.

А с другой стороны, я была темной и необразованной. Все меня интересовало лишь настолько, насколько это могло быть полезным в моей будущей профессии. Отбор происходил чисто интуитивно: хочу, нравится, люблю... Зачем мне то, что не пригодится в профессии?

Было только ликование молодости, беззаботное, самонадеянное. И вдруг — проснулась. Поздно. Школа практически была закончена. Остались последние выпускные экзамены. И что? Математику запустила, химию запустила, физику... С ней и в самом деле было безнадежно. Я и сейчас поражаюсь, как это маленький приемник ловит весь мир. Мне сто раз объяснят, я вроде уже и поняла, а потом: «Нет, как же — такой маленький, и весь мир?!» Это у меня точно от папы. В багаже — только русская классика. Правда, намного шире, чем в школьной программе.

Времени мало. Но делать что-то надо. У меня же получается то, что нравится, что меня интересует. Значит, надо попробовать себя заставить. Когда в девятом классе мне купили пианино, я с азартом засела за музыку и в короткий срок одолела программу. В музыкальной школе тогда все были удивлены скачку. Могла же для папы за два дня разучить на аккордеоне «Чардаш» Монти, а потом одолеть и сложный вальс Тихонова! «Пальцовка трудная, тут сам черт ногу сломаить! Я не потянув, а моя дочурочка вже играить».

Но это мне интересно. А физика, химия, математика — не интересны. Эти предметы мне, в сущности, не пригодятся в жизни. Но уже появился азарт: смогу или не смогу?

Села за математику, нащупала то место, откуда начались пробелы. И передо мной поплыли веселые вечера, песенки и наши с Милочкой дуэтики. Папа ведь предупреждал... Со скрипом, постепенно, доходила до истины... Дома не могли поверить, что я ночью над математикой! А мне становилось все яснее и яснее, интереснее и интереснее. Потому, что я сама этого достигала!

В девятых-десятых классах математику преподавала нам Евдокия Семеновна — прекрасный педагог, в совершенстве знавшая свой предмет. У нее был такой глаз... Любого ученика она видела насквозь. Как войдет в класс, мгновенно поймет, кто

не знает урока. Я не только боялась посмотреть ей в глаза, но даже в коридоре прошмыгивала мимо, чтобы не попасться ей на глаза. Казалось, вся моя фигура ей говорила: «Ничего не знаю. Ничего».

На устном экзамене по математике Евдокия Семеновна смотрела на меня тоскливо и безнадежно. Все, кто не любил математику, были для нее людьми неполноценными и вызывали искреннюю жалость и тоску.

- Ой, Гурчэнко, Гурчэнко, що з вас будэ? У вас по матэматыци у голови тэмна ничь.. Ну що, будэмо видповидаты, чы натягнэмо тры?»

Я ответила, что хочу «видповидаты».

Новость мгновенно донеслась до учительской. Больше всех радовалась наша классная руководительница Клара Абрамовна: «Терпение и труд — все перетрут».

И вот устная математика — «пять», а письменная — «три». По инерции. А ведь этой инерции могло и не быть. Но поздно. Многое, очень многое прошло мимо. Всю жизнь потом я чувствовала недостаток образования. А тогда, в десятом классе, эта бессистемность образования даже и на йоту не представлялась мне трагичной и горькой. То был только первый звонок.

В том же 1953 году я поступила в Институт кинематографии на курс народных артистов СССР С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой. Началась совершенно новая жизнь. Жизнь в новом измерении.

Среди учеников Герасимова я была, как белая ворона. Я пришла на курс с большим аккордеоном, с желанием на экране петь и танцевать, с мечтой быть только музыкальной актрисой. Обязательно.

Постепенно, исподволь и незаметно, Сергей Апполинарьевич и Тамара Федоровна подводили меня к тому, чтобы я стала ученицей их школы — реалистической школы. И в то же время ни в коем случае не оставляла, а, наоборот, развивала свои музыкальные способности. На третьем курсе я сыграла в «Разбойниках» Шиллера первую драматическую роль — Амалию. И только после этого начала становиться полноценной ученицей Герасимова.

И вот роли на дипломном курсе: комедийная эксцентрическая роль в водевиле, музыкальная роль Кето в оперетте «Кето и Котэ» и драматическая роль Имоджин, которая и поет, и танцует, и играет на рояле в сценической композиции по Драйзеру «Западня». Именно сейчас, пройдя школу Герасимова, играя театральную примадонну и кокетливую дамочку в мюзикле

«Небесные ласточки» и в водевиле «Соломенная шляпка», играя в «Бенефисе», где мне нужно вдохнуть жизнь в десяток женщин-масок, я ищу точную биографию каждой, стараюсь понять причины их внутренней неустроенности, реально стою на земле. А они порхают, кривляются, кокетничают, придумывают себе экстравагантные поступки, за которыми удобно прятать свою боль. После школы, в институте, пошли провалы. Не на уроках мастерства, не по другим предметам по специальности, даже не в масштабе узкой школьной программы — по истории, литературе — нет. Здесь все внешне было пристойно. Но внутри — я-то знаю! — все время проваливалась, спотыкалась. Чувствуя на лекциях С. А. Герасимова широкий размах его знаний и эрудиции, я понимала, что мне надо необыкновенно много читать, много нового узнать, очистить свою речь, исправить свой вкус, что мне придется постоянно пересматривать и менять свои взгляды на жизнь, на искусство. Я должна была самостоятельно выбираться трудными дорогами из лабиринта запутанных в сознании вопросов.

...На школьном выпускном балу все было прекрасно. Утром мы уже получали свои аттестаты зрелости, уже все знали, уже успокоились и к вечеру пришли нарядные, торжественные, совсем взрослые. Одета я была роскошно. На мне было ярко-зеленое платье из блестящего китайского шелка с красными бантами. Туфли красные - на них тоже бант, как у мушкетера. Я себе очень нравилась. С косами мы с Милой расстались навсегда. И у нас у обеих была шестимесячная прическа — кудри, как у барашка.

На выпускном вечере был последний концерт школьной самодеятельности. Клара Абрамовна написала литературную композицию из «Евгения Онегина», которая прошла с большим успехом. Юную Татьяну читала Лида Шарапова: «Я вам пишу..." А Татьяну повзрослевшую, уже все понявшую и разочаровавшуюся в этой суетной светской жизни, — я. В зале было весело, когда я неожиданно вышла после Шараповой второй Татьяной...

В классе и школе уже знали, что я хочу ехать в Москву, и потому в зале была тишина. Меня как бы заново оценивали: «Потянет ли она? Здесь-то сойдет, а вот в Москве-то небось все по-другому». Именно об этом думала и я, стоя последний раз на школьной сцене, когда говорила воображаемому Онегину: «Довольно, встаньте, я должна вам объясниться откровенно..."

А потом я пела под аккордеон. Он был таким модным инструментом! А если на нем играла девушка, да еще и пела при этом... «Та что там говорить», как выражался мой папа, когда не хватало слов...

Вступления и проигрыши я брала аккордами и растягивала

мехи своего большого, на три с половиной октавы, аккордеона так, что он разливался на всю школу. А когда начинала петь, я переходила только на левую руку — на бас, чтобы не заглушать собственного голоса. Гармонии у меня на басах были красивые, современные, петь «под бас» мне нравилось. И репертуар у меня был самый современный - из только что нашумевшей итальянской кинокартины «Песни на улицах». В фильме группка певцов ходит по дворам и улицам, исполняя свои прекрасные песни. Весь Харьков пел «Песни на улицах», особенно «О, Мари».

Первый куплет я пела «по-итальянски». На итальянском языке я знаю слова: больконе, кантаре, воляре, примавера, аморе и гондоле... Но я так варьировала эти слова, а между ними набор междометий в чисто итальянской манере, что весь школьный зал притих: «Нет, эта в Москву попадет. Вон как шпарит на итальянском».

К своему итальянскому исполнению я прибегнула на пробах к фильму-сказке из русско-итапьянской жизни «Роман и Франческа».

1960 год. Киностудия имени Довженко. Я пробовалась на роль итальянской девушки Франчески. На маленькой, необычной гитарке мне играл на пробе очень музыкальный человек — Лев Борисович Олевский. Его сначала пригласили быть в картине консультантом по итальянскому быту, но оказалось, что он десять лет прожил в Мексике, а не в Италии. И он, исполняя небольшую роль итальянского партизана, в фильме играл на своей маленькой гитарке — «укулели». На пробе Лев Борисович сыграл вступление к «О, Мари», и я запела... на чистом итальянском языке!

Худсовет утвердил меня без разговоров. Нашли, что во мне вообще много итальянского, что у меня тип северной итальянки. А произношение!

Аккордеон уже был не в моде. В моду входила гитара. У киевского мастера я заказала гитарку «укулели» и научилась играть на ней.

В фильме очень хорошая музыка и песни украинского композитора А. Билаша на чудесные стихи поэта Дмитра Павлычко. Его стихи на украинском языке невозможно равноценно перевести на русский. В украинском варианте картины песни полнокровнее. На русском припев песни о любви выглядит так:

Чайкою в небе любовь моя летает,
К милому в мире любовь моя взывает!
Ищет его, обгоняя года,

Крыльев не сложит своих никогда...

А на украинском:

Чайкою в нэби любов моя литае,
Мылого в свити любов моя шукае.
Ни на хвылыночку крыл нэ склада,
Скрывджена тяжко душа молода...

Слово «скрывджена» в украинском языке очень сильное слово. «Кривда» — ложь, неправда. Ни «лживый», ни «неправдивый» не могут достигнуть той силы, как "скрывджена»... Фильм «Роман и Франческа» до сих пор имеет много поклонников. В нем есть чистота, наивность, искренность. Я тоже люблю его за музыку и за стихи Павлычко. Десять лет я проучилась в украинской школе и очень полюбила украинский язык.

...И одета роскошно, и выступила с успехом, и мальчики из 58-й школы были, и Толик со мной и с Милочкой танцевал поочередно. Но настроение почему-то было не праздничное. Что меня ждет? Вот кончится вечер, и прощай, моя школа! Мой тыл, моя спина, моя опора. Смогу ли я одна выстоять на своих ногах?

Когда на наш запрос в Институт кинематографии пришел ответ, в нем было пояснение: на экзамене нужно прочесть басню, стихотворение, отрывок из прозы. Этюд на заданную тему. Необходимо знание основ системы К. С. Станиславского. Коллоквиум (чтобы узнать, что это такое, мне понадобилось несколько дней).

В Харьковской библиотеке имени Короленко, той самой, где папа с мамой после войны наводили порядок, я взяла два тома Станиславского.

Книга меня увлекла, и я, как ни странно, поняла все. Даже немного успокоилась и сделала вывод, что если человек, который собирается стать актером, от природы неглуп и артистичен, то эта система сделает его актером. Обязательно. Пусть не выдающимся, но хорошим сделает. Я даже пробовала читать прозу, постоянно думая о "сверхзадаче» и при этом не теряя «зерна». И... забывала текст прозы, который знала назубок.

Вместе с великими актерами «того» МХАТа, рядом с ними рождалась и великая система. Их система. Система существует и сейчас. Ее изучают во всех театральных вузах. Ее можно при желании взять и изучить. Великая система есть, а великие актеры что-то не рождаются...

...Ехать в Москву я боялась.

Мы с мамой ходили вокруг Харьковского театрального института. Там был набор только на украинское отделение. Мы кружили вокруг Стеклянной струи, подходили ближе к институту, и опять шли к Стеклянной струе. Говорили-говорили, решали. А когда решили, оказалось, что мы опоздали, что приемная комиссия работает до пяти. «Приходите завтра». Мы с облегчением вздохнули. Ну что ж, придем завтра... наверное.

Дома мама сообщила папе, что мы решили все-таки подать документы в Харьковский театральный институт. В Москву ехать страшно. «Люся одна, в Москве ни родственников, ни знакомых. Столица, огромный город. Люся не выдержит..."

И тут выступил папа!

«Только у Москву! Моя дочурочка не выдержить? Другие могуть, а она не? Чем она хужий? Только у Москву!! Без разговорув! Дуй свое, дочурка! Ты ж в меня - кремень. Мы з нею якой концертик у диревни дали? Целых два часа! Та што там говорить... Одним словом — у Москву! Леля! Немедленно отправляй документ! Моя дочурка усех положить на лупаты! Ето як закон! И я ще через нее ув историю попаду! Папусик ще будет гордиться своею дочуркую! От тогда ты посмеесся, Леличка. Ну что ты стала, як болван? Давай чуковней, чуковней! Шевелися, шевелися, крошка моя ненаглядная! У Москву поедишь, дочурочка, моя ластушка, мой сухарек, моя богинька, моя клюкувка, моя дрыбалачка дорогенькая...»

И вот к нашему дому подъехало такси. Меня погрузили — учебники, чемодан, аккордеон.

Подумать только — я еду в Москву!!!

Не хотелось, чтоб были проводы. Вдруг не попаду в институт? Приеду обратно. И так все уже знают, что я еду в Москву, — посмеиваются, пожимают плечами. А тетя Соня честно говорит маме, громко, на весь двор: «Леля! Вы с Марком самашечии! Какая из Люси артистка? Там же одни кости!»

До поезда меня провожала мама. «Лель, едь одна. Я ще не сдержуся, расплачуся и усе вам испорчу».

Мы тихо тронулись... У ворот стоял мой папа в зеленой полосатой пижаме. На руках держал карликового пинчера, у ног сидели старый кот Мурат с облезшим хвостом и «исключительно умный дворняжка» Тобик. Вот и вся моя семья.

Мы ехали по Клочковской, по нашей булыжной мостовой, где я знала каждый камешек, мимо тети Фроси, мимо базара, мимо сберкассы, где было кафе, в котором пел Петер, мимо ремесленного училища №11, мимо кинотеатра имени Дзержинского.

Я уезжала в далекую, неизвестную Москву...

Дорогой мой, любимый папочка! Ты будешь мной гордиться. Я тебя не подведу. Я все сделаю. Во что бы то ни стало.

Папа стал уже совсем маленьким... Но все стоял и стоял. Только мелькал белый платок...